

Рисаль Х.



ФЛИБУСТЬЕРЫ

ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

История в романах

Хосе Рисаль

Флибустьеры

«Алгоритм»

1891

УДК 82/89
ББК 84(5Ф)

Рисаль Х. П.

Флибустьеры / Х. П. Рисаль — «Алгоритм», 1891 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-02783-3

Хосе Протасио Рисаль Меркадо и Алонсо Реалонда (1861–1896) – таково полное имя самого почитаемого в народе национального героя Филиппин, прозванного «гордостью малайской расы». Писатель и поэт, лингвист и историк, скульптор и живописец. Рисаль был, кроме того, известен как врач, зоолог, этнограф и переводчик (он знал более двух десятков языков). Будущий идеолог возрождения народов Юго-Восточной Азии получил образование в Манильском университете, а также в Испании и Германии. Его обличительные антиколониальные романы «Не прикасайся ко мне» (1887), «Флибустьеры» (1891) и политические памфлеты сыграли большую роль в пробуждении свободомыслия и национального самосознания филиппинской интеллигенции. Рисаль был казнен за подготовку восстания против испанского господства на Филиппинах. Публикуемый в данном томе роман «Флибустьеры», повествует о годах владычества испанских колонизаторов на Филиппинах. о героической борьбе филиппинского народа за независимость своей родины. Ее знаменем стало имя самого Хосе Рисаля. который на страницах книги перевоплощается в своего героя и вместе с ним строит планы борьбы и мести.

УДК 82/89
ББК 84(5Ф)

ISBN 978-5-486-02783-3

© Рисаль Х. П., 1891

© Алгоритм, 1891

Содержание

I	7
II	14
III	19
IV	23
V	29
VI	33
VII	37
VIII	44
IX	46
X	48
XI	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Хосе Рисаль

Флибустьеры

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

* * *

Можно подумать, будто некий флибустьер тайными чарами понуждал клику святош и ретроградов, чтобы они, невольно выполняя его замысел, проводили и поощряли политику, устремленную к одной цели: распространить дух флибустьерства по всей стране и убедить всех филиппинцев до единого, что нет для них иного спасения, как отделиться от матери-родины.

Фердинанд Блюментритт¹

Посвящается памяти священников дона Мариано Гомеса (85 лет), дона Хосе Бургоса (30 лет) и дона Хасинго Самары (35 лет), казненных на Багумбаянском поле² 28 февраля 1872 года.

Церковь, отказавшись лишить вас сана, выразила сомнение в вашей преступности; правительство, окружив ваше дело тайной и глухими намеками, посеяло подозрения, что в тяжкую минуту им была совершена роковая ошибка; а Филиппины, свято чтя вашу память и называя вас мучениками, не признают вас виновными.

И пока не будет доказано ваше участие в кавитском восстании, пока не выяснится, были вы или не были патриотами, поборниками справедливости и свободы, я вправе посвятить мой труд вам, павшим жертвами того зла, с которым я пытаюсь бороться. В ожидании дня, когда Испания оправдает вас и объявит себя непричастной к вашей гибели, да послужат эти страницы запоздалым венком из увядших листьев, который я возлагаю на неизвестные ваши могилы! И всякий, кто бездоказательно чернит вашу память, да прослывет убийцей, запятнанным вашей кровью!

Х. Рисаль

¹ **Фердинанд Блюментритт** (1853–1913) – австрийский общественный деятель и ученый, занимавшийся изучением Китая и Филиппин, близкий друг Хосе Рисаля.

² В описываемое время – площадь на окраине Манилы, традиционное место казни участников антииспанских выступлений; 30 декабря 1896 г. на Багумбаянском поле был расстрелян и Хосе Рисаль.

I

На верхней палубе

*Sic itur ad astra*³.

Декабрьским утром по извилистому руслу реки Пасиг⁴, пыхтя, поднимался пароход «Табо», везший многочисленных пассажиров в провинцию Лагуна⁵. Его неуклюжий, бочковатый корпус напоминал табу⁶, откуда и произошло название; он был грязноват, но с претензией казаться белым, и, благодаря своей медлительности, двигался торжественно и важно. И все же в округе относились к нему с нежностью, – не то из-за тагальского названия, не то из-за его сугубо филиппинского характера, главное свойство коего – неприятие прогресса. Казалось, это был вовсе не пароход, а некое неподвластное переменам, пусть несовершенное, но не подлежащее критике существо, которое кичится своей прогрессивностью только потому, что покрыто снаружи слоем краски. И в самом деле, этот благословенный пароход был истинно филиппинским! При некотором воображении его можно было даже принять за наш государственный корабль, сооруженный попечением преподобных и сиятельных особ.

В лучах утреннего солнца, серебрищих речную зыбь, под протяжный свист ветра в прибрежных зарослях гибкого тростника плывет вдаль его белый силуэт, увенчанный султаном черного дыма. Что ж, говорят, государственный корабль тоже изрядно дымит!.. «Табо» ежеминутно гудит, хрипло и властно, как деспот, призывающий окриками к повиновению, и столь оглушительно, что пассажиры не слышат один другого. Он угрожает всему на своем пути. Вот-вот он сокрушит саламбао – хрупкие рыболовные снасти, которые качаются над водой, точно скелеты великанов, приветствующих допотопную черепаху; очертя голову грозно устремляется он то на тростниковые заросли, то на ящериц карихан, притаившихся среди гумамелей⁷ и других цветов, подобно нерешительным купальщикам, которые, уже войдя в воду, никак не отважатся нырнуть. Следуя по фарватеру, отмеченному в реке тростниковыми стеблями, «Табо» преисполнен самодовольства. Но вдруг сильный толчок едва не валит с ног пассажиров: наскочили на перекат, которого здесь раньше не было.

Если сравнение с государственным кораблем кажется еще не совсем убедительным, взгляните, как разместились пассажиры. На нижней палубе – смуглые лица, черные шевелюры; здесь, среди тюков и ящиков с товарами, теснятся индейцы, китайцы, метисы, тогда как на верхней палубе, под сенью тента, расположились в удобных креслах несколько монахов и одетых по-европейски чиновников; они курят сигары, любуются пейзажем и словно не замечают, с каким трудом капитан и матросы преодолевают речные препятствия.

Капитан, пожилой человек с добродушным лицом, – бывалый моряк, который в молодости плавал на более быстроходных судах по более обширным водным просторам, а теперь, на склоне лет, вынужден сосредоточивать все свое внимание на том, чтобы осторожно обходить ничтожные помехи. Каждый день одно и то же: те же илистые перекаты, та же махина парохода, застревающего на тех же поворотах, как тучная дама в толпе; и почтенному капитану то и дело приходится стопорить, пятиться, убавлять пары и посылать полдюжину матросов, вооруженных длинными шестами, то на бакборт, то на штирборт, чтобы помогли рулевому одолеть

³ Так идут к звездам (*лат.*).

⁴ **Пасиг** – река на острове Лусон, на которой расположена Манила.

⁵ **Лагуна** – провинция в Южном Лусоне (современная пров. Лагуна-де-Бай).

⁶ **Табу** – сосуд, изготавливаемый из половины кокосового ореха (*тагал.*).

⁷ **Гумамели** – цветы из семейства мальвовых.

поворот. Ни дать ни взять ветеран, водивший некогда отряды в смелые атаки, а в старости приставленный губернатором к капризному, строптивому увальню!

А о том, похож ли «Табо» на капризного увальня, может кое-что сказать донья Викторина, единственная дама, сидящая в кружке одетых по-европейски мужчин, донья Викторина, которая, как всегда, раздражительна и осыпает проклятьями все эти барки, челноки, плоты с кокосовыми орехами, индейцев-лодочников, даже прачек и купающихся, – они действуют ей на нервы своей веселой возней! О да, «Табо» мог бы идти превосходно, не будь индейцев на реке, не будь индейцев в стране, да-да, не будь ни одного индейца на свете! Она забыла, что рулевые на пароходе – индейцы, что из ста пассажиров девяносто девять – индейцы и что сама она – индианка, в чем легко убедиться, если соскрести с ее лица белила и снять с нее щегольской капот. В это утро донья Викторина особенно несносна, ей кажется, что господа на верхней палубе уделяют ей мало внимания, а права ли она, посудите сами. Ведь здесь сидят три монаха, убежденные в том, что в тот день, когда они сделают шаг вперед, весь мир перевернется; здесь изобретательный дон Кустодио, который сейчас мирно дремлет, упоенный своими проектами; и плодовитый писатель Бен-Саиб (он же Ибаньес), полагающий, что в Маниле мыслят лишь потому, что мыслит он, Бен-Саиб; и краса духовенства отец Ирене, в отлично сшитой шелковой сутане с мелкими пуговками, – на его чисто выбритом, румянном лице красуется великолепный иудейский нос; и богач ювелир Симон, который слывет советчиком самого генерал-губернатора и вдохновителем всех его действий. Судите же сами, каково находиться среди таких столпов общества, *sine quibus non*⁸, и видеть, что они, увлекшись приятной беседой, забыли о существовании филиппинки-отступницы, которая красит волосы в белокурый цвет! Да, тут есть от чего потерять терпение «многострадальной Иове», как называет себя донья Викторина, когда на кого-нибудь злится.

Дурное расположение этой дамы усугубляется всякий раз, когда по команде капитана «бакборт!», «штирборт!» матросы проворно вытаскивают из воды бамбуковые шесты и, напрягая изо всех сил ноги и спины, упираются то в один, то в другой берег, чтобы пароход не наскочил на мель. В такие минуты кажется, будто государственный корабль, чуя приближение опасности, превращается из медлительной черепахи в рака.

– Но послушайте, капитан, почему ваши болваны рулевые правят в эту сторону? – негодуя вопрошает донья Викторина.

– Потому, что здесь глубже, сударыня, – очень спокойно отвечает капитан, подмигивая одним глазом.

Этим подмигиваньем, вошедшим в привычку, капитан как бы командует сам себе: «Тихий ход, самый тихий!»

– Все средний ход да средний! – возмущается донья Викторина. – Зачем же не полный?

– Тогда, сударыня, мы заплыли бы на эти рисовые поля, – невозмутимо возражает капитан, выпячивая губы в направлении полей и все так же легонько подмигивая.

Донью Викторину хорошо знали в этих краях из-за ее чудачеств и капризов. Она много бывала в обществе, где ее терпели ради ее племянницы, прелестной Паулиты Гомес, богатой невесты и круглой сироты, при которой донья Викторина была как бы опекуницей. Почтенная сеньора уже немолодой вышла замуж за неудачника дон Тибурсио де Эспаданья и ко времени нашего рассказа состояла в браке пятнадцать лет, носила накладные букли и полуевропейский наряд. Больше всего ей хотелось прослыть европейской дамой, и со злополучного дня своего замужества она, прибегая к дозволенным и недозволенным средствам, настолько преуспела в этом, что ныне ни Катрефаж, ни Вирхов⁹ не сумели бы отнести ее к какой-либо из уже извест-

⁸ Без которых нельзя обойтись (*лат.*).

⁹ Катрефаж де Брео, Жан-Луи-Арман (1810–1892) – французский зоолог и антрополог. Рудольф Вирхов (1821–1902) – крупный немецкий ученый-биолог. Занимался также археологией и антропологией, в частности, интересовался народностями на Филиппинах.

ных рас. Супруг долгие годы сносил ее тиранию с кротостью йога, но в некий роковой день поддался на пятнадцать минут пагубному гневу и знатно отколотил благоверную своим костылем. Пораженная такой внезапной переменой в его характере, сеньора «Иова» сперва даже не почувствовала боли; лишь оправившись от испуга, она заохала и слегла на несколько дней, к великой радости хохотушки и насмешницы Паулиты. Тем временем супруг, ужаснувшись собственному кощунству, которое граничило в его глазах с омерзительным грехом матереубийства, и преследуемый фуриями – хранительницами брака (двумя комнатными собачками и ручным попугаем), обратился в бегство со всей прытью, на какую способен хромым. Он вскочил в первый попавшийся экипаж, затем, добравшись до реки, пересел в первую встречную лодку и – новоявленный филиппинский Улисс – пустился странствовать из города в город, из провинции в провинцию, с острова на остров; а за ним вслед устремилась его Калипсо в пенсне, докучая всем своим спутникам. Недавно она прослышала, что супруг ее скрывается в одном из городов провинции Лагуна, и отправилась туда прельщать беглеца своими крашеными буклями.

Ее спутники на борту «Табо» прибегли к оборонительному маневру: они оживленно беседовали между собой обо всем, что только приходило на ум. Излучины и повороты реки оказались благодарной темой, и речь зашла о выпрямлении русла, а также, само собой, о работах по сооружению порта.

Бен-Саиб, писатель с лицом монаха, вступил в спор с молодым священником, похожим на артиллериста. Оба кричали и сильно жестикулировали; разводя руками, воздевая их к небу, хлопая друг друга по плечу, они говорили об уровне воды, о рыболовных топях, о реке Сан-Матео, о челноках, об индейцах и т. д., к большому удовольствию почти всех своих слушателей, за исключением двоих – изможденного пожилого францисканца и представительного доминиканца, на губах которого блуждала ироническая улыбка.

Худощавый францисканец, понимая, что означает улыбка доминиканца, решил вмешаться и прекратить спор. По-видимому, он пользовался авторитетом – стоило ему сделать знак рукой, как спорящие вмиг умолкли. Монах-артиллерист как раз говорил о практическом опыте, а писатель-монах – об ученых.

– А знаете ли вы, Бен-Саиб, чего стоят ваши ученые? – сказал глухим голосом францисканец, чуть повернувшись в кресле и приподняв иссохшую руку. – Вот здесь, в этой провинции, есть мост Капризов. Строил его один из наших братьев, но не закончил, ибо эти ваши ученые, на основе своих теорий, решили, что мост будет недостаточно прочен. А поглядите-ка, мост до сих пор держится, назло всем наводнениям и землетрясениям!

– Вот-вот, провалиться мне, именно это я и хотел сказать! – воскликнул монах-артиллерист, ударяя кулаком по ручке плетеного кресла, – Об ученых и об этом самом сооружении я и хотел сказать, отец Сальви, провалиться мне!

Бен-Саиб, еле заметно улыбаясь, молчал, то ли из почтения, то ли и впрямь не знал, что ответить, а ведь он был единственный мыслящий человек на Филиппинах! Отец Ирене одобрительно кивал головой, потирая свой длинный нос.

Худощавый, изможденный монах – это был отец Сальви, – удовлетворенный таким смирением, продолжал:

– Но это отнюдь не значит, что вы менее правы, нежели отец Каморра (так звали монаха-артиллериста). Все зло в лагуне...

– Даже порядочной лагуны нет в этой стране! – с неподдельным возмущением снова устремилась в атаку донья Викторина, желая во что бы то ни стало прорваться в крепость противника.

Осажденные в ужасе переглянулись, но тут ювелир Симон с находчивостью полководца пришел им на помощь.

– Я знаю очень простой способ улучшить водные пути, – сказал он, выговаривая слова с каким-то странным, не то английским, не то южноамериканским акцентом. – Удивляюсь, как это никто еще до него не додумался.

Все обернулись к нему с живейшим любопытством, даже доминиканец. Ювелир был высокий, сухопарый, жилистый, очень смуглый человек в тинсинском шлеме, одетый на английский манер. Его длинные, совершенно седые волосы и черная, редкая борода указывали на смешанное происхождение. Для защиты от солнечных лучей он носил огромные синие очки с козырьком, которые закрывали глаза и часть лица. Стоял он, засунув руки в карманы куртки и широко расставив ноги, как бы для равновесия.

– Способ очень простой, – повторил он, – и это не стоило бы ни одного куарто.

Слова ювелира разожгли любопытство. В Маниле поговаривали, что Симон имеет большое влияние на генерал-губернатора; все прониклись уверенностью, что его идея близка к осуществлению. Дон Кустодио и тот обернулся.

– Надо прорыть прямой канал от устья реки до ее истоков, проведя его через Манилу, то есть надо создать новую реку и засыпать старое русло Пасига. Это высвободит большие участки земли, сократит путь. Ну и, само собой разумеется, в новой реке уже не будет мелей!

Проект поразил слушателей, привыкших к полумерам.

– Истинно американский размах! – заметил Бен-Саиб, желая польстить Симону: ювелир долгое время провел в Северной Америке.

Все находили проект грандиозным и одобрительно кивали. Лишь дон Кустодио, либерал дон Кустодио, как человек независимый и занимающий высокие посты, счел своим долгом раскритиковать проект, автором которого был не он, – ведь это покушение на его права! Кашлянув, он пригладил усы и внушительным тоном, словно выступая на заседании аюнтамьенто¹⁰, сказал:

– Простите, сеньор Симон, достойный мой друг, но я должен признаться, что не разделяю вашего мнения. Ваш проект потребовал бы огромных затрат. Возможно, пришлось бы снести целые деревни.

– И снесем! – холодно возразил Симон.

– А деньги, чтобы платить рабочим?

– Платить не надо. У нас есть арестанты и каторжники...

– Гм, но их недостаточно, сеньор Симон!

– Если их недостаточно, пусть все жители деревень – старики, молодые, дети, – отработают для государства не двухнедельную повинность, а три, четыре, наконец, пять месяцев, к тому же их надо обязать явиться со своим продовольствием и лопатами.

Дон Кустодио испуганно оглянулся, не слышит ли этих слов какой-нибудь индеец. К счастью, из посторонних на палубе находились лишь несколько крестьян да двое рулевых, внимание которых было поглощено коварным фарватером.

– Но, сеньор Симон...

– Поверьте, дон Кустодио, – сухо продолжал Симон, – когда мало денег, только так и осуществляются великие замыслы. Так были сооружены пирамиды, озеро Мерида¹¹ и римский Колизей. Целые провинции стекались в пустыню, принося с собой запасы лука для пропитания; старики, юноши, дети, подгоняемые плетью надсмотрщика, перетаскивали на своих плечах камни, обтесывали их и укладывали на место. Кое-кто выживал и возвращался в свое селение, остальные погибали в песках пустыни. На смену им шли люди из других провинций, и так все годы, пока длились постройки. А теперь мы ими восхищаемся, ездим в Египет и в Рим, вос-

¹⁰ Аюнтамьенто (*исп.*) – муниципалитет.

¹¹ **Озеро Мерида** (Меридово) – озеро в Египте (Фаюмский оазис). В Древнем Египте при фараоне Аменемхете III (1849–1801 гг. до н. э.) в районе Меридова озера были предприняты грандиозные осушительные работы.

хваляем фараонов, династию Антонинов...¹² Поверьте, о погибших не помнят, только сильные личности получают признание потомства. А мертвым так или иначе суждено гнить в земле.

– Но, сеньор Симон, подобные меры могут вызвать беспорядки, – заметил дон Кустодио, встревоженный таким оборотом беседы.

– Беспорядки? Ха-ха! Разве египетский народ хоть раз восставал? Разве восставали пленные иудеи против милосердного Тита? Право, я считал вас более сведущим в истории!

Бесспорно, этот Симон слишком мнил о себе или попросту был невежей! Сказать в лицо самому дону Кустодио, что он несведущ в истории, – да это хоть кого выведет из себя! И дон Кустодио вспылал:

– Не забывайте, здесь вас окружают не египтяне или иудеи!

– К тому же филиппинцы бунтовали неоднократно, – не очень уверенно прибавил доминиканец. – Вспомните времена, когда их принуждали доставлять лес для постройки судов. Если бы не монахи...

– Те времена отошли в прошлое, – сухо засмеявшись, возразил Симон. – Жители этих островов больше не восстанут, сколько бы их ни обременяли повинностями и налогами... Не вы ли, отец Сальви, – обратился он к художавому францисканцу, – расхваливали мне дворец в Лос-Баньос¹³, где нынче отдыхает его превосходительство, и тамошнюю больницу?

Отец Сальви, озадаченный вопросом, поднял голову и взглянул на ювелира.

– Разве не говорили вы, что оба эти здания строили жители деревень, которых согнали туда и заставили работать под плетью надсмотрщика. Вероятно, мост Капризов строился таким же образом! И что ж, разве в этих деревнях были восстания?

– Но они там бывали... прежде, – вставил доминиканец, – а *ab actu ad posse valet illatio!*¹⁴

– Вздор, вздор! – перебил его Симон, направляясь к трапу, чтобы спуститься в свою каюту. – Отец Сальви верно говорил. И ни к чему тут, отец Сибила, ваша латынь и прочие глупости. А вы, монахи, зачем, если народ может восстать?

И, не слушая протестов и возражений, Симон стал спускаться по узенькой лестнице, презрительно повторяя:

– Вздор, вздор!

Отец Сибила был бледен: впервые ему, вице-ректору университета, довелось услышать, что он говорит глупости. Дон Кустодио позеленел: ни на одном диспуте он не встречался со столь дерзким противником. Это было уж слишком!

– Американский мулат! – гневно фыркнул он.

– Английский индеец! – подхватил Бен-Саиб.

– Нет, американский, говорю вам, я-то знаю, – с досадой возразил дон Кустодио. – Мне его превосходительство сам рассказывал. Он познакомился с этим ювелиром в Гаване и, как я подозреваю, получил от него взаймы некую сумму, с помощью которой сделал карьеру. Желая отплатить за услугу, он пригласил этого ювелира сюда, чтобы тот набил себе карманы, продавая бриллианты... возможно, фальшивые. А этот неблагодарный, обобрав наших индейцев, еще хочет... Уф!

И он заключил фразу многозначительным жестом.

Никто не решился поддержать столь крамольные речи. Конечно, дон Кустодио, если ему так угодно, может ссориться с его превосходительством, другое дело Бен-Саиб, отец Ирене, отец Сальви или оскорбленный отец Сибила. Никто из них не мог положиться на скромность своих собеседников.

¹² **Антонины** – римская императорская династия (96–192 гг.), в период правления которой в Риме был построен ряд монументальных архитектурных сооружений.

¹³ **Лос-Баньос** – небольшой город в провинции Лагуна.

¹⁴ По действиям надлежит судить о возможностях! (*лат.*)

– Видите ли, этот господин американец, вероятно, думает, что имеет дело с краснокожими... Заставлять людей работать из-под палки! И еще говорить об этом на пароходе! Кстати, это ведь он посоветовал послать войска на Каролинские острова и начать поход на Минданао, который принесет нам только позор и разорение... И он еще предложил свои услуги для постройки крейсера! Но скажите на милость, что может смыслить в морских судах ювелир, как бы он ни был богат и образован?

Все это говорил патетическим тоном дон Кустодио своему соседу Бен-Саибу, оживленно жестикулируя и взглядом ища одобрения у остальных, которые неопределенно покачивали головами. Отец Ирене двусмысленно улыбался, поглаживая свой нос и прикрывая рот рукой.

– Говорю вам, Бен-Саиб, – продолжал дон Кустодио, тряся писателя за локоть, – все наши беды оттого, что не советуемся со старожилками. Услышат о таком вот проекте, где много громких слов и для которого требуется много денег, да-да, весьма кругленькая сумма, и как замороженные сразу его принимают... А все из-за вот этого! – Дон Кустодио сложил пальцы в шепотку и потер ими.

– Есть и такое, есть, – почел своим долгом ответить Бен-Саиб, которому как журналисту полагалось быть осведомленным обо всем.

– Только подумайте, еще до проекта о сооружении порта я представил один оригинальный, простой, удобный, недорогой и вполне осуществимый проект об очистке лагуны от ила, но его не приняли, потому что он не сулил вот этого! – Дон Кустодио снова потер пальцами и, пожимая плечами, обвел присутствующих взглядом, словно спрашивал: «Видана ли такая несправедливость?»

– А можно узнать, в чем суть вашего проекта?

– Просим! Расскажите! – посыпались восклицания, и все подошли ближе, чтобы послушать. Проекты дон Кустодио пользовались такой же славой, как снадобья иных знахарей.

Дон Кустодио, обиженный, что не нашел поддержки в своих выпадах против Симона, сперва хотел замкнуться в гордом молчании. «Когда нет опасности, вы требуете, чтобы я говорил, да? А когда дело рискованное, помалкиваете?» – чуть не сорвалось у него с языка. Но ему жалко было упускать такой случай: раз уж его проект все равно не осуществляется, пусть хотя бы о нем узнают и воздадут ему должное.

Он выпустил несколько клубов дыма, откашлялся, сплюнул в сторону и спросил у Бен-Саиба, хлопая того по ляжке:

– Видели вы когда-нибудь уток?

– Кажется, да... Мы ведь на них охотились на озере, – ответил удивленный Бен-Саиб.

– Я говорю не о диких утках, а о домашних, которых разводят в Патеросе¹⁵ и в Пасиге. А знаете ли, чем они питаются?

Бен-Саиб, единственная мыслящая личность в Маниле, не знал: этим вопросом он не занимался.

– Ракушками, друг мой, ракушками! – подсказал отец Каморра. – Чтобы знать, чем питаются утки, не надо быть индейцем, достаточно иметь глаза!

– Вот именно, ракушками! – повторил дон Кустодио, подняв указательный палец. – А знаете, откуда они их достают?

Мыслитель Бен-Саиб и об этом не имел понятия.

– А вот поживете с мое в этой стране, так будете знать, что утки выуживают ракушки прямо из ила, там их тьма-тьмушая.

– Ну а ваш проект?

– Да я к тому и веду. Я заставил бы всех жителей прибрежных деревень разводить уток. Тогда бы эти утки, добывая ракушки, углубили русло реки... Вот и все, очень просто. – И

¹⁵ Патерос – река на о-ве Лусон.

дон Кустодио развел руками, наслаждаясь изумлением слушателей: такая необычная идея еще никому не приходила в голову.

– Вы позволите написать об этом статью? – спросил Бен-Сайб. – В наших краях так мало мыслящих людей!

– Но послушайте, дон Кустодио, – сказала донья Викторина, жеманно надувая губы, – если все начнут разводить уток, тогда нам будут продавать только утиные яйца! Фи, какая гадость! Пусть лучше всю лагуну затянет илом!

II На нижней палубе

На нижней палубе шли другие разговоры.

Здесь пассажиры сидели на скамьях и деревянных табуретках среди баулов, ящиков, корзин и тюков; из машинного отделения несло жаром от котлов, крепко пахло потом и вонючей нефтью.

Одни молча созерцали проплывавшие мимо берега, другие играли в карты или беседовали под мерный стук лопастей, под громоханье машины, шипенье пара, плеск воды, пронзительные свистки парохода. В углу вповалку, точно трупы, лежали спавшие или пытавшиеся уснуть китайцы – разносчики товаров; они были бледны от качки, из полуоткрытых ртов текла слюна, одежда взмокла от пота. Лишь несколько юношей – студентов, судя по их белоснежным костюмам и учтивым манерам, – отважно прогуливались от кормы к носу и обратно, перескакивая через корзины и ящики. Радуюсь предстоящим каникулам, они то вспоминали забытые законы физики и обсуждали работу машины, то увивались за юной воспитанницей колледжа и за продавщицей буйо с накрашенными губами и гирляндой жасмина на шее, нашептывая им на ухо словечки, от которых девушки краснели и прикрывали лица пестрыми веерами.

Два студента, не принимая участия в этих беспечных шалостях, стояли на носу и беседовали с пожилым господином, державшимся очень прямо и горделиво. Этих юношей, по видимому, все знали и уважали, о чем говорило почтительное отношение к ним других пассажиров. Тот, что постарше, одетый в черное, был студент-медик Басилио, завоевавший известность добротой к больным и искусным врачеванием. Его товарищ, помоложе годами, но выше ростом и более крепкого сложения, звался Исагани; он был «поэт», то есть выпускник Атенео¹⁶, удостоенный награды за стихи. Это был юноша особого склада, почти всегда молчаливый и необщительный. Беседовал же с ними богач капитан Басилио, возвращавшийся из Манилы, где он делал кое-какие закупки.

– У капитана Тьяго все по-прежнему, сударь, – говорил ему, покачивая головой, студент-медик. – Никак не желает лечиться... *Кое-кто* посоветовал ему послать меня в Сан-Диего¹⁷ под предлогом, что надо присмотреть за домом. На самом же деле он просто хочет, чтобы никто не мешал ему курить опиум.

Под «*кое-кем*» студент разумел отца Ирене, большого приятеля и главного советчика капитана Тьяго, доживавшего последние дни.

– Опиум – одна из язв нашего времени, – наставительно заметил капитан Басилио с пафосом римского сенатора. – Его знали и древние, но они им не злоупотребляли. Пока у нас были в почете классические науки, – заметьте это, юноши, – опиум применялся только как лекарство, не так ли? Ну скажите на милость, кто больше всех курит опиум? Китайцы! Китайцы, которые словечка не знают по-латыни! Ах, если бы капитан Тьяго посвятил себя изучению Цицерона!..

На его гладко выбритом лице эпикурейца изобразилось самое классическое негодование. Исагани внимательно смотрел на него: этот господин явно тосковал по античным временам.

– Но вернемся к вашей Академии испанского языка, – продолжал капитан Басилио. – Уверю вас, ничего из этого не выйдет...

¹⁶ **Атенео** – муниципальный Атенео – коллегия (среднее учебное заведение) в Маниле, открытая монахами-иезуитами в 60-х годах XIX в., одно из самых популярных учебных заведений на Филиппинах во времена Рисаля.

¹⁷ **Сан-Диего** – город в провинции Лагуна.

– Что вы, сударь, мы со дня на день ждем разрешения, – возразил Исагани. – Отец Ирене, которого вы, наверно, видели наверху, получил от нас в подарок пару гнедых лошадок и пообещал уладить дело. Он должен поговорить с генералом.

– Напрасный труд! Ведь отец Сибила против!

– Пусть против! Для того-то он и едет в Лос-Баньос к генералу, уж там без боя не обойдется.

И студент Басилио выразительно стукнул одним кулаком о другой.

– Все понятно! – рассмеялся капитан Басилио. – Но если вам и дадут разрешение, откуда вы возьмете средства?..

– Они у нас есть, сударь. Каждый студент вносит один реал.

– Ну а где вы найдете преподавателей?

– Они тоже есть – частью филиппинцы, частью испанцы.

– А помещение?

– Макараиг, богач Макараиг дает нам один из своих домов.

Капитану Басилио пришлось сдаться – эти юноши предусмотрели все.

– А вообще-то, – снисходительно сказал он, – идея вовсе недурна, да-с, недурна. Раз уж латынь теперь не в чести, пусть хотя бы изучат испанский. Вот вам, тезка, доказательство того, что мы идем вспять. В мои времена основательно учили латынь, так как книги у нас были латинские; вы тоже немного занимались ею, но книги у вас уже не латинские, а испанские. И этот дивный язык мало кто знает. «Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores!»¹⁸ – сказал Гораций.

Молвив это, капитан Басилио удалился, величавостью напоминая римского императора. Юноши улыбнулись.

– Ох, уж эти мне старики! – шутливо вздохнул Исагани. – Всюду им мерещатся препятствия. Что ни предложи, во всем видят одни изъяны, а достоинств не замечают. Никак им не угодишь!

– Зато с твоим дядей он отводит душу, – заметил Басилио, – оба так любят толковать о былых временах... Кстати, что сказал дядя насчет Паулиты?

Исагани покраснел.

– Прочел мне целую проповедь о том, как надо выбирать невесту... А я ему ответил, что в Маниле нет второй такой, как Паулита, – красавица, образованна, сирота...

– Богата, изящна, остроумна, один только недостаток – тетка у нее сумасбродная, – со смехом прибавил Басилио.

Исагани тоже рассмеялся.

– А знаешь ли ты, что эта самая тетушка поручила мне разыскать ее супруга?

– Донья Викторина? И ты, конечно, обещал это сделать, чтобы она приберегла тебе невесту?

– Разумеется! Да штука-то в том, что супруг ее прячется... в доме моего дяди!

Оба расхохотались.

– Потому-то мой дядюшка, – продолжал Исагани, – человек прямодушный, не захотел пройти в каюту. Он боится, как бы донья Викторина не стала спрашивать у него о доне Тибурсио. Видел бы ты, какую мину соорудила донья Викторина, узнав, что я еду на нижней палубе. Такое презрение было у нее во взгляде...

В эту минуту на палубу спустился Симон.

– Мое почтение, дон Басилио, – сказал он покровительственно. – Едем на каникулы? А этот юноша – ваш земляк?

¹⁸ Отцы были хуже дедов, а мы и вовсе никчемны! (лат.)

Басилио представил Исагани и объяснил, что живут они по соседству. Исагани был из деревни, находившейся на противоположном берегу залива.

Симон так пристально рассматривал Исагани, что тот с досадой повернулся и вызывающе глянул ему в лицо.

– Что представляет собой ваша провинция? – спросил Симон у Басилио.

– Как, вы ее не знаете?

– Откуда мне, черт возьми, знать ее, если я ни разу в ней не бывал? Мне говорили, народ там бедный и драгоценностей не покупает.

– Мы не покупаем драгоценностей, потому что в них не нуждаемся, – отрезал Исагани, в ком заговорила гордость за свой край.

На бледных губах Симона мелькнула усмешка.

– Не сердитесь, юноша, я не хотел сказать ничего обидного. Просто я слышал, что почти все приходы этой провинции отданы священникам-индейцам, и я сказал себе: монахи всех орденов мечтают получить приход, а францисканцы, так те не брезгают даже самыми бедными, и если монахи уступают приходы священникам из местных, значит, там и в глаза не видывали королевского профиля. Полноте, господа, пойдемте лучше выпьем по кружке пива за процветание вашей провинции.

Юноши, поблагодарив, сказали, что пива не пьют.

– И напрасно, – с явной досадой заметил Симон. – Пиво – штука полезная, нынче утром отец Каморра при мне заявил, что жители этих краев вялы и апатичны оттого, что слишком много пьют воды.

Исагани, который ростом был лишь чуть ниже ювелира, распрямил плечи.

– Так скажите отцу Каморре, – поспешил вмешаться Басилио, исподтишка толкая Исагани локтем, – скажите ему, что, если бы сам он пил воду вместо вина и пива, было бы куда лучше, люди перестали бы о нем судачить...

– И еще скажите ему, – прибавил Исагани, не обращая внимания на толчки, – что вода приятна и легко пьется, но она же разбавляет вино и пиво и гасит огонь, что, нагреваясь, она обращается в пар, что грозный океан – тоже вода. И что некогда она уничтожила человечество и потрясла мир до самых оснований!

Симон вскинул голову; глаза его были скрыты синими очками, но выражение лица говорило, что он изумлен.

– Славный ответ! – сказал он. – Но боюсь, отец Каморра высмеет меня и спросит, когда же эта вода превратится в пар или станет океаном. Он ведь человек недоверчивый и большой шутник.

– Когда пламя разогреет ее, когда маленькие ручейки, что ныне текут разрозненные по ущельям, сольются, гонимые роком, в один поток и заполнят пропасть, которую вырыли люди, – отвечал Исагани.

– Не слушайте вы его, сеньор Симон, – сказал Басилио шутливым тоном. – Лучше прочтите отцу Каморре стихи моего приятеля Исагани:

Вы говорите – мы вода, вы пламя.
Ну что ж, оставим споры,
Пусть мир царит меж нами
И не смутят его вовек раздоры!
Но вместе нас свела судьба недаром –
В котлах стальных согреты вашим жаром,
Без злобы, возмущенья,
Мы станем пятою стихией – паром,
А в нем прогресс и жизнь, свет и движенье!

– Утопия, утопия! – сухо сказал Симон. – Такую машину еще надо изобрести... а пока я пойду пить пиво.

И, не простившись, он оставил двух друзей.

– Послушай-ка, что с тобой сегодня? Что это ты так воинственно настроен? – спросил Базилио.

– Да так, сам не знаю. Этот человек внушает мне отвращение, чуть ли не страх.

– Я все толкал тебя локтем. Разве ты не знаешь, что его называют «Черномазый кардинал»?

– «Черномазый кардинал»?

– Или «Черное преосвященство», если угодно.

– Не понимаю!

– У Ришелье был советник-капуцин, которого прозвали «Серое преосвященство», а этот состоит при генерале...

– Неужели?

– Так я слышал от одного человека. За глаза он всегда говорит о ювелире дурное, а в глаза льстит.

– Симон тоже бывает у капитана Тьяго?

– С первого дня своего приезда, и я уверен, что *кое-кто*, ожидая наследства, считает его своим соперником... Думаю, этот ювелир тоже едет к генералу по поводу Академии испанского языка.

Подошел слуга и сказал Исагани, что его зовет дядя.

На корме среди прочих пассажиров сидел на скамье священник и любовался живописными берегами. Когда он вошел на палубу, ему поспешили уступить место, мужчины, проходя мимо, снимали шляпы, а картежники не посмели поставить свой столик слишком близко к нему. Священник этот говорил мало, не курил, не напускал на себя важности; он, видимо, не чуждался общества простых людей и отвечал на их приветствия с изысканной учтивостью, показывая, что очень польщен и благодарен за внимание. Несмотря на преклонный возраст и почти совсем седые волосы, он был еще крепок и сидел очень прямо, с высоко поднятой головой, но в его позе не было и тени надменности. Среди других священников-индейцев, – в то время, впрочем, немногочисленных, служивших викариями или временно замещавших приходских пастырей, – он выделялся уверенной, строгой осанкой, полной достоинства и сознания святости своего сана. С первого взгляда на него можно было определить, что это человек другого поколения, другого времени, когда лучшие из молодых людей не боялись унижить себя, приняв духовный сан, когда священники-тагалы обращались к монахам любого ордена как равные к равным, когда в это сословие, еще чуждое низкой угодливости, входили свободные люди, а не рабы, люди, способные мыслить, а не покорные исполнители. В чертах его скорбного задумчивого лица светилось спокойствие души, умудренной науками и размышлением, а возможно, и личными страданиями. Этот священник был отец Флорентино, дядюшка Исагани; историю его жизни можно рассказать в немногих словах.

Родился он в Маниле в богатой, уважаемой семье и, отличаясь в молодости приятной наружностью и способностями, готовился к блестящей светской карьере. К духовному сану он не чувствовал никакого влечения; однако мать, исполняя обет, заставила сына, после долгого его сопротивления и бурных споров, поступить в семинарию. Мать была в большой дружбе с архиепископом, обладала железной волей и осталась непреклонной, как всякая женщина, убежденная, что исполняет волю Господа. Напрасно юный Флорентино отбивался, напрасно умолял, напрасно говорил, что влюблен, и ссорился с родителями: он должен был стать священником и стал им. Архиепископ рукоположил его в священники, первая месса прошла чрез-

вычайно торжественно, пиршество после нее длилось три дня. И мать умерла спокойная и умиротворенная, завещав сыну все свое состояние.

В этой борьбе Флорентино была нанесена рана, которая так никогда и не зажила: за несколько недель до первой мессы страстно любимая им девушка вышла с отчаяния замуж за первого встречного. Удар сломил Флорентино навсегда, он утратил душевную бодрость, жизнь стала невыносимым бременем. По несчастной любви даже больше, чем природная добродетель и уважение к своему сану, помогла ему избежать пороков, в каких погрязают филиппинские монахи и священники. По долгу своему он посвятил себя прихожанам, по склонности – естественным наукам.

Когда разразились события семьдесят второго года, отец Флорентино побоялся, что его приход, один из самых богатых, привлечет к себе внимание; превыше всего ценя спокойствие, он сложил с себя обязанности приходского пастыря и поселился как частное лицо в наследственном имении на берегу океана. Там он усыновил своего племянника Исагани, – по словам злопыхателей, собственного сына, прижитого с бывшей невестой, после того как она овдовела, а по мнению людей более доброжелательных и осведомленных, незаконного сына одной из его манильских племянниц.

Капитан парохода заметил священника и стал уговаривать его пройти в каюту на верхней палубе. Для вящей убедительности он добавил:

– Не пойдете, так монахи еще подумают, что вы их чуждаетесь.

Отцу Флорентино пришлось согласиться; он попросил позвать племянника, чтобы сообщить ему об этом и посоветовать не подниматься на верхнюю палубу, пока он будет там.

– Если капитан увидит тебя, он и тебя пригласит наверх, а мне бы не хотелось злоупотреблять его любезностью.

«Дядюшкины фокусы! – подумал Исагани. – Уж очень он боится разговора с доньей Викторией».

III

Легенды

*Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin!¹⁹*

Когда отец Флорентино с поклоном присоединился к кружку на верхней палубе, там уже не осталось и следа раздражения, вызванного недавними спорами. Возможно, на общество подействовал умиротворяюще вид приветливых домиков города Пасига или же несколько рюмочек хереса, выпитых для аппетита, и перспектива хорошего завтрака. Как бы то ни было, смеялись и шутили все, даже изможденный францисканец, хотя его безмолвные улыбки больше смахивали на гримасы умирающего.

– Плохие времена, плохие! – с усмешкой повторял отец Сибила.

– Не гневите Бога, вице-ректор! – отвечал отец Ирене, подталкивая кресло, в котором тот сидел. – Ваши братья в Гонконге недурно устраивают свои делишки и скупают такие усадьбы, что позавидуешь...

– Уж это вы зря, – возражал доминиканец. – Вы просто не знаете, какие у нас расходы, да и арендаторы в наших поместьях начинают поднимать голос...

– Хватит ныть, провалиться мне, не то и я сейчас заплачу! – весело воскликнул отец Каморра. – Мы вот не жалуемся, а ведь у нас нет ни поместий, ни банков. Мои-то индейцы, доложу я вам, тоже начинают поговаривать о правах и суют мне под нос тарифы! Подумайте-ка, вспомнили о тарифах, о тарифах времен архиепископа дона Басилио Санчо, провалиться мне! Как будто с тех пор цены не поднялись вдвое! Ха-ха-ха! Разве крещение ребенка не стоит одной курицы? Но я никого не слушаю, беру, что дают, и не хнычу. Мы люди не жадные, правда ведь, отец Сальви?

В эту минуту над трапом показалась голова Симона.

– Куда это вы запропалились? – крикнул ему дон Кустодио, уже забыв о недавней стычке. – Вы пропустили самые красивые виды.

– Не беда, – возразил Симон, взойдя на палубу, – я уже повидал столько рек и пейзажей, что теперь меня интересуют лишь те, с которыми связаны легенды...

– А о Пасиге тоже ходят легенды, – вмешался капитан, задетый пренебрежением к реке, по которой он плавал и которая кормила его. – Вот, к примеру, легенда о Малапад-на-бато. Этот утес слыл до прихода испанцев священным обиталищем духов. Потом, когда в духов перестали верить и утес осквернили, на нем обосновались тулисаны; с вершины они высматривали лодки и нападали на бедных лодочников, которым приходилось бороться и с течением и с разбойниками. Даже теперь, в наше время, хоть человек и приложил к этим местам свою руку, нет-нет, а услышишь историю о затонувшей лодке, и не будь я начеку, когда мы огибали это опасное место, мы легко могли бы разбиться! Есть и другая легенда, о гроте доньи Херонимы, ее может рассказать вам отец Флорентино...

– Да ее все знают! – скривился отец Сибила.

Но оказалось, что Симон, Бен-Саиб, отец Ирене и отец Каморра ее не знают; они попросили рассказать, кто ради смеха, а кто из подлинной любознательности. Таким же шутивным

¹⁹ Не знаю, что стало со мною, Печалью душа смущена! (нем.) Гейне Г. Лорелея, пер. В. Левика.

тоном, каким его просили, священник, подобно няньке, рассказывающей детям сказку, начал так:

– Жил-был в Испании студент, который поклялся одной девушке жениться на ней, а потом забыл и о клятве и о девушке. Долгие годы она ждала его, молодость ее прошла, красота увяла. И вот в один прекрасный день она прослышала, что ее бывший жених стал архиепископом в Маниле. Тогда она переделалась мужчиной, приехала сюда и явилась к его преосвященству, требуя исполнения клятвы. Но это было невозможно, и архиепископ приказал устроить для нее грот; вы, вероятно, заметили его на берегу; он весь зарос вьюнками, которые кружевной завесой закрывают вход. Там она жила, там умерла, там ее и схоронили. Предание гласит, что донья Херонима настолько была толста, что могла протиснуться в свой грот лишь боком. Она, кроме того, прослыла волшебницей, да еще бросала в реку серебряную посуду после роскошных пиров, на которые собиралось много знатных господ. Под водой была протянута сеть, в нее-то и падали драгоценные блюда и кубки. Так донья Херонима мыла посуду. Еще лет двадцать назад река омывала самый вход в ее келью, но мало-помалу вода отступает все дальше, подобно тому как уходит из памяти индейцев воспоминание об отшельнице.

– Прелестная легенда! – сказал Бен-Сайб. – Я напишу о ней статью! Такая трогательная!

Донья Викторина подумала, что ее судьба похожа на судьбу обманутой отшельницы, она уже открыла было рот, чтобы сообщить об этом, но ей помешал Симон.

– А что вы думаете об этом, отец Сальви? – спросил он у францисканца, погруженного в размышления. – Не кажется ли вам, что его преосвященству следовало бы поселить ее не в гроте, а в какой-нибудь обители, например в монастыре Святой Клары?

Отец Сибила с удивлением заметил, что отец Сальви вздрогнул и искоса взглянул на Симона.

– Это вовсе не галантно, – самым естественным тоном продолжал ювелир, – поселить в скале женщину, чьи надежды мы обманули. Как мог человек благочестивый подвергнуть ее соблазнам одинокой жизни в гроте, на берегу реки, точно она нимфа или дриада? Куда более галантно, милосердно, романтично и в согласии с обычаями этой страны было бы заточить ее в монастырь Святой Клары, как некогда заточили Элоизу²⁰, чтобы время от времени навещать ее там и укреплять ее дух? Вы согласны?

– Я не могу и не смею обсуждать поступки архиепископов, – нехотя процедил францисканец.

– Но ведь вы глава здешнего духовенства, наместник архиепископа? Как бы поступили вы в таких обстоятельствах?

Отец Сальви пожал плечами:

– К чему толковать о том, что никогда не случится?.. Но раз уж речь зашла о легендах, я хотел бы напомнить вам самую прекрасную, ибо она самая правдоподобная, легенду о чуде святого Николая, – вы, я думаю, видели развалины его храма? Расскажу эту легенду сеньору Симону, он вряд ли ее знает. Некогда в этой реке и в озере кишмя кишели кайманы, столь прожорливые и огромные, что нападали на лодки и опрокидывали их одним ударом хвоста. И вот, как повествуют наши хроники, некий китаец-язычник, упорно не желавший принять крещение, плыл однажды на лодке мимо храма. Вдруг перед ним предстал в образе каймана сам дьявол и перевернул лодку: видимо, он хотел сожрать язычника и утащить в ад. Но китаец, вдохновленный Господом, воззвал к святому Николаю, и кайман вмиг окаменел. Старики говорят, что не так давно еще можно было по обломкам скалы, в которую обратилось чудовище, угадать

²⁰ Элоиза (1100–1163) – жена известного средневекового французского философа и богослова Пьера Абеляра (1079–1142). Опасаясь, что брак с Элоизой помешает его карьере профессора философии и теологии в Париже, Абельяр длительное время скрывал ее в монастыре, где она в конце концов стала настоятельницей.

его очертания. Я сам, например, ясно видел его голову и, судя по ней, могу подтвердить, что кайман был колоссальных размеров.

– Чудесная, чудесная легенда! – воскликнул Бен-Саиб. – Отличная получится статья. Описание чудовища, ужас китайца, бушующие волны, заросли тростника... А как полезна для сравнительного изучения религий! Подумайте, китаец-язычник в минуту смертельной опасности взывает к святому, о котором знал, вероятно, лишь понаслышке и в которого не верил... Уж тут никак не подойдет пословица: «Лучше заведомое зло, чем неведомое благо». Если бы я очутился в Китае и попал в такую беду, я скорее воззвал бы к самому последнему святому из наших святцев, чем к Конфуцию или к Будде. Это свидетельствует либо о несомненном превосходстве католичества, либо о нелогичности и непоследовательности мышления у индивидуумов желтой расы; разрешить этот вопрос поможет лишь основательное изучение антропологии.

Бен-Саиб рассуждал профессорским тоном, очерчивая в воздухе круги указательным пальцем и восхищаясь собственным умом, который из ничтожных фактов извлекал столь важные и далеко идущие выводы. Заметив, что Симон задумался, Бен-Саиб решил, что тот размышляет над его словами, и спросил, о чем он думает.

– О двух весьма важных предметах, – отвечал Симон, – точнее, о двух вопросах, которые вы можете включить в свою статью. Первый: что случилось с дьяволом, после того как его обратили в камень? Освободился ли он от заклятия или остался на месте? И второй вопрос: быть может, те окаменелые животные, которых я видел в европейских музеях, тоже жертвы какого-нибудь допотопного святого?

Ювелир, приставив палец ко лбу, говорил так серьезно и глубокомысленно, что отец Каморра в тон ему ответил:

– Как знать, как знать!

– Господа, мы подходим к озеру, – вмешался отец Сибила, – и если уж вспоминать легенды, то наверняка наш капитан знает их немало...

В это время пароход выплыл на широкий разлив, и взору путешественников открылась поистине великолепная панорама. Всех охватило волнение. Прямо впереди простиралось окаймленное зелеными берегами и синими горами прекрасное озеро, подобное огромному полукруглому зеркалу в раме из сапфиров и изумрудов, в которое гляделось небо. Справа берег был низкий, со множеством живописных бухт и смутно видневшимся вдали мысом Сугай; впереди на горизонте величаво высился могучий Макилинг²¹ в венце из кудрявых облачков, а слева – остров Талим, с мягкими линиями холмов, «Девичья грудь», как называют его тагалы.

Дул свежий ветерок, синяя гладь озера была подернута легкой рябью.

– Кстати, капитан, – сказал Бен-Саиб, оборачиваясь, – не знаете ли вы, где тут на озере погиб этот, как бишь его, Гевара, Наварра, нет, – Ибарра?

Все взглянули на капитана, только Симон пристально смотрел на берег, словно хотел что-то отыскать там.

– Да, да, – встрепенулась донья Викторина. – Где это, капитан, где? Быть может, там остались какие-нибудь следы?

Добряк капитан подмигнул несколько раз, что выражало у него сильную досаду, но, видя умоляющие глаза пассажиров, прошел несколько шагов вперед, на нос, и оглядел берег.

– Посмотрите вон туда, – полушепотом сказал он, удостоверившись, что на палубе нет посторонних. – По словам капрала, который командовал отрядом, Ибарра, убедившись, что окружен, выпрыгнул из лодки в воду вблизи Кинабутасана²² и пустился вплавь к берегу. Он проплыл больше двух миль, и каждый раз, как высовывал голову, чтобы набрать воздуха, по

²¹ Макилинг – гора на Южном Лусоне.

²² Кинабутасан – селение на берегу реки Пасиг.

нему стреляли. Потом его потеряли из виду, а немного погодя у самого берега вода как будто окрасилась кровью... Да, кстати, сегодня ровно тринадцать лет, день в день, как это случилось.

– Стало быть, его труп... – начал Бен-Саиб.

– ...отправился к трупу его отца, – подхватил отец Сибила. – Тот ведь тоже был флибустьером, правда, отец Сальви?

– Вот погребение, не требующее расходов! – воскликнул Бен-Саиб. – Согласны, отец Каморра?

– Я всегда говорил, что флибустьеры не любят тратиться на пышные похороны, – с веселым смехом отвечал тот.

– Да что это с вами, сеньор Симон? – спросил Бен-Саиб, заметив, что ювелир стоит неподвижно и молчит. – Неужто вас укачало? Вас, путешественника, на этой лужице?

– Насчет лужицы это вы зря, – возмутился капитан, который за долгие годы службы на «Табо» полюбил эти места. – Наше озеро больше любого швейцарского и всех озер Испании, вместе взятых. Я знал и старых моряков, которых здесь укачивало.

IV Кабесанг Талес

23

Читавшие первую часть этой повести, возможно, помнят старика дровосека, который жил в лесной чаще.

Танданг Село здравствует и поныне и, хотя волосы его совсем побелели, на здоровье не жалуется. Правда, на охоту он уже не ходит и дрова в лесу не рубит, – семья теперь живет в достатке, и старик проводит время за вязаньем метел.

Его сын Талес (уменьшительное от Телесфоро) арендовал прежде участок у богатого помещика, но затем, обзаведясь двумя буйволами и несколькими сотнями песо, решил трудиться на собственной земле. Отец, жена и трое детей помогли ему.

Неподалеку от деревни они выкорчевали и расчистили густые заросли, которые, как они думали, не имели хозяина. Пока осушали и распахивали участок, вся семья, один за другим, переболела лихорадкой, а жена и старшая дочь Лусия, цветущая девушка, умерли от этой изнурительной болезни. Причиной лихорадки были ядовитые испарения, поднимавшиеся из болотистой почвы, но Талес и его семья объяснили свои несчастья мстью лесного духа. Смирившись с горем, они продолжали трудиться, надеясь, что дух уже умилоствлен. Когда же подошло время первого урожая, монашеский орден, владевший землями в соседней деревне, предъявил права на их поле, утверждая, что оно находится в его владениях, и в доказательство немедленно расставил вехи. Однако отец эконом из милости позволил Талесу пользоваться урожаем с этой земли при условии, что он ежегодно будет платить монахам небольшую сумму, сущий пустяк, двадцать – тридцать песо.

Талес, человек на редкость миролюбивый, ненавидевший тяжбы, что свойственно многим, и почитавший монахов, что свойственно немногим, сказал, что «глиняный горшок с чугунным котлом не спорит». И уступил монахам. У него не хватило мужества воспротивиться их притязаниям, – ведь он не знал испанского языка и не имел денег, чтобы заплатить адвокатам. К тому же Танданг Село твердил ему:

– Терпи! Затеешь тяжбу, в один год истратишь больше, чем заплатил бы святым отцам за десять лет. А они еще отблагодарят тебя своими молитвами. Считай, что эти деньги ты проиграл или уронил в воду, прямо в пасть кайману.

Урожай был хороший, его удалось выгодно продать; тогда Талес начал строить деревянный дом в деревне Сагпанг, входившей в округ Тиани, что вблизи города Сан-Диего.

Прошел год, опять собрали обильный урожай, и монахи под каким-то предлогом подняли аренду до пятидесяти песо. Талес опять заплатил, потому что не хотел ссориться и надеялся получить хорошую цену за свой сахар.

– Терпи! Считай, что кайман подрос, – утешал его старый Село.

В том же году сбылась наконец их заветная мечта: они переехали в свой домик, который поставили в слободе Сагпанг. Талес и старик очень хотели послать в школу обоим детям, главное, Хулиану, или, как ее звали в семье, Хулио, которая росла умной и красивой девочкой. А почему бы и нет? Ведь Басилио, часто бывавший у них в доме, учился в Маниле, хотя происходил тоже из простой семьи.

Но этой мечте, видно, не суждено было сбыться.

²³ **Кабесанг Талес** – то есть староста Талес (дословно «каоеса» – голова). Талес был старостой сельской общины (кабеса де барангай). Окончание «нг» в слове «кабесанг» прибавилось в результате тагализации испанского слова.

Как только односельчане заметили, что семья Талеса выбивается из нужды, ее кормильца поспешили избрать старостой баранга²⁴. Тано, старшему сыну, было всего четырнадцать лет, так что старостой – «кабесангом» – стал Талес. Ему пришлось сшить себе куртку, купить фетровую шляпу и подготовиться к еще большим расходам. Чтобы не прогневить священника и жить в мире с властями, он должен был выплачивать недоимки за выбывших и умерших из своего кармана и тратить много времени на сбор налогов и поездки в главный город провинции.

– Терпение! Представь себе, что к кайману присоединилась его родня, – кротко улыбаясь, говорил Танданг Село.

– В будущем году ты наденешь длинное платье и поедешь в Манилу учиться, как другие сеньориты, – обещал кабесанг Талес своей дочери, когда она рассказывала ему об успехах Базилио.

Но этот будущий год никак не наступал, зато аренда все повышалась; кабесанг Талес мрачнел и почесывал в затылке. Рис из глиняного горшка уплывал в чугунный котел.

Когда аренда возросла до двухсот песо, Талес перестал чесать затылок и вздыхать: он возмутился, начал спорить. Отец эконома на это сказал, что, если Талес платить не может, землю отдадут другому. Желающих найдется много.

Кабесанг Талес подумал было, что монах шутит, но тот говорил вполне серьезно и даже назвал имя одного из своих слуг, которому намеревался отдать участок Талеса. Бедняга побледнел, в ушах у него зазвенело, перед глазами поплыл красный туман, и в этом тумане возникли образы его жены и дочери, бледных, истощенных, умирающих от болотной лихорадки! Потом ему представился густой лес, на месте которого они возделали поле, он видел, как пот ручьями струится в борозды, видел самого себя, несчастного Талеса, пашущего на солнцепеке, ранящего ноги о камни и корни, меж тем как этот монах разъезжал в коляске, а тот, кому предстояло завладеть его, Талеса, землей, бежал сзади, как раб за господином. О нет, тысячу раз нет! Пусть лучше провалятся в преисподнюю и это поле, и все монахи! Какое право имеет этот чужеземец на его землю? Разве привез он из своей страны хоть одну ее горстку? Разве шевельнул он пальцем, чтобы выкорчевать хоть один корень из этой земли?

Монах рассвирепел, кричал, что не остановится ни перед чем, что заставит и его, и всех прочих жителей деревни уважать себя. Кабесанг Талес, вспыхнув, сказал, что не заплатит ни одного куарто; красный туман все еще застилал его глаза, и он заявил, что уступит свою землю только тому, кто так же, как он, польет ее своей кровью.

Увидав лицо сына, старый Село не осмелился заговорить о каймане. Он попробовал утешить Талеса, напомнив о глиняном горшке и о том, что выигравшие тяжбу часто остаются без рубашки.

– Э, отец, все мы обратимся в прах, и все мы пришли в этот мир нагими! – ответил Талес.

И он наотрез отказался платить или уступить хоть пядь земли, если монахи не подтвердят свои притязания каким-либо документом. Документа у монахов не было, они подали в суд, и кабесанг Талес решил судиться, полагая, что найдутся все же люди, чтящие справедливость и закон.

– Много лет я служил и служу королю, не жалея ни денег, ни сил, – твердил Талес тем, кто пытался его отговорить. – Теперь я прошу правосудия, и король должен мне его оказать.

И, словно от этой тяжбы зависела самая жизнь его и его детей, Талес начал как одержимый тратить деньги на адвокатов, нотариусов и стряпчих, не говоря уже о секретарях и писарях, которые пользовались его темнотой и бедственным положением. Он без усталости ездил в главный город провинции, не ел, не спал, только и говорил, что о заявлениях, доказательствах, жалобах... Завязалась еще не виданная под филиппинским небом борьба: борьба бедного, невеже-

²⁴ **Барангай** – сельская община, волость, представляющая низшую административно-фискальную единицу, объединяла обычно 30–50 семей.

ственного, не имеющего друзей индейца, полного веры в свои права и в справедливость своего дела, против всемогущего ордена, пред которым склонялось само правосудие, а судьи в страхе выпускали из рук меч Фемиды. Талес боролся с упорством муравья, который кусает, зная, что будет раздавлен, с упорством мухи, которая бьется о стекло, стремясь на волю. Ах, этот глиняный горшок, бросивший вызов чугунным котлам и обреченный быть разбитым вдребезги, являл собой волнующее зрелище, в его отчаянном упорстве было какое-то величие! В свободные от поездок дни Талес обходил свои поля с ружьем в руках. Он ссылаясь на то, что в округе бесчинствуют тулисаны и ему надо быть начеку, иначе он попадет к ним в руки и проиграет дело. Будто для самозащиты, Талес упражнялся в меткости – стрелял в птиц, в плоды на деревьях, в бабочек и бил без промаха, так что отец эконома уже не осмеливался приезжать в Сагпанг без охраны гражданских гвардейцев. Его прихлебатель, глядя издали на внушительную фигуру кабесанга Талеса, ходившего по своим полям, как дозорный по крепостным стенам, струсил и перестал зариться на чужую землю.

Однако мировые судьи и их коллеги в главном городе провинции не решались признать права Талеса; они боялись перечить монахам, чтобы не лишиться места, как случилось недавно с одним из них. А ведь никто не назвал бы их плохими судьями! Все это были люди добросовестные и нравственные, хорошие граждане, примерные отцы семейств, почтительные сыновья... И положение бедняги Талеса они понимали даже лучше, чем он сам. Многие из них отлично знали научные и исторические основания права собственности, знали, что монахам по уставу запрещено иметь собственность, но они знали также, что приехали сюда с другого конца света, что пустились в странствие по морям и океанам, тяжкими хлопотами добыв назначение, и готовы были исполнять свои обязанности как можно лучше. И что же, потерять все из-за какого-то индейца, которому взбрело в голову, что на земле, как и на небе, должно вершиться правосудие! Нет, это невыносимо! У каждого из судей была семья, и потребностей у нее, разумеется, больше, чем у семьи этого индейца. Один содержал мать – а есть ли более священный долг, чем сыновья любовь? У другого были сестры на выданье, у третьего – орава малышей, которые, как птенчики в гнезде, ждут пищи и, конечно, умрут с голоду, если отец останется без места. Наконец, могла же быть у человека пусть не семья, так любимая женщина, там, далеко, за морями, которая, лишившись ежемесячной денежной помощи, окажется в нужде... И все эти судьи, все эти добросовестные и нравственные граждане полагали: самое большее, что они могут сделать, – это посоветовать сторонам прийти к соглашению и убедить кабесанга Талеса выплатить аренду. Но, как все бесхитростные люди, Талес, уразумев, в чем справедливость, шел прямо к цели. Он требовал доказательств, документов, свидетельств... Ничего этого у монахов не было, они ссылались только на его собственные прошлые уступки.

Кабесанг Талес возражал:

– Если я ежедневно подаю милостыню нищему, чтобы он ко мне не приставал, кто может заставить меня подавать ему и тогда, когда он злоупотребит моей добротой?

Разубедить его было невозможно, угрозы не действовали. Напрасно сам губернатор М. приезжал к нему побеседовать и припугнуть. Талес твердил свое:

– Делайте что хотите, сеньор губернатор, я человек маленький, необразованный. Но эти поля возделывал я, расчищать их помогали мне жена и дочь, они погибли, и я уступлю эту землю только тому, кто вложит в нее больше, чем я. Пусть оросит ее своей кровью и схоронит в ней жену и дочь!

Судьи, раздраженные таким упрямством, решили дело в пользу монахов, а над Талесом все смеялись, – дескать, на одном праве далеко не уедешь. Но он подавал апелляции, перезаряжал свое ружье и мерным шагом обходил границы участка. Жил он все это время точно в бреду. На Тано, его сына, такого же рослого, как отец, и кроткого, как сестра, пал жребий идти в рекруты; Талес и не пытался отстоять его, не пожелал нанять охотника.

– Я должен платить адвокатам, – говорил он рыдавшей дочери. – Выиграю дело, тогда уж я сумею вернуть Тано домой, а проиграю – не нужны мне дети.

Тано ушел, и больше о нем ничего не слышали. Узнали только, что его обрили наголо и что спит он под повозкой. Через полгода кто-то сказал, будто Тано был среди солдат, отправлявшихся на Каролинские острова; другие уверяли, что видели его в форме гражданского гвардейца.

– Тано – гражданский гвардеец! Сусмариосен!²⁵ – восклицали односельчане, всплескивая руками. – Такой добрый, такой честный малый! Реквиемернам!²⁶

Дедушка долго не разговаривал с сыном, Хулия слегла, но кабесанг Талес и слезинки не проронил. Два дня он не выходил из дому, словно боялся укориженных взглядов, боялся, что его назовут извергом, загубившим сына. Но на третий день он опять появился на поле с ружьем в руках.

Кое-кому показалось, что Талес замышляет убийство; нашелся доброжелатель, который насплетничал, будто сам слышал, как Талес грозился похоронить святого отца на своем поле. Монаха обуял страх, он немедленно добился от генерал-губернатора указа, которым запрещалось носить оружие и повелевалось всем немедленно его сдать. Кабесангу Талесу пришлось расстаться с ружьем; тогда он вооружился длинным боло и продолжал свои обходы.

– Что толку в твоём боло, когда у тулисанов огнестрельное оружие? – говорил ему старый Село.

– Я должен охранять посевы, – отвечал Талес. – Каждый стебель сахарного тростника на поле – это кость моей жены.

Вскоре боло у него тоже отобрали под предлогом, что оно слишком длинное. Тогда Талес закинул на плечо старый отцовский топор и, как прежде, угрюмо отправился на обход.

Всякий раз, как он уходил из дому, Танданг Село и Хулия опасались за его жизнь. Девушка то и дело вставала из-за ткацкого станка, подбегала к окну, молилась, давала обеты святым, справляла новены²⁷. У старика валялись из рук метлы, он поговаривал о том, чтобы переселиться обратно в лес. Жизнь в этом доме становилась невыносимой.

Наконец то, чего они боялись, произошло. Поля Талеса были расположены в пустынном месте, далеко от деревни, и беднягу похитили тулисаны – топор действительно оказался плохой защитой против револьверов и ружей. Тулисаны заявили Талесу, что раз он в состоянии платить судьям и адвокатам, у него должны найтись деньги для гонимых и отверженных. Они потребовали выкупа в пятьсот песо и сообщили об этом семье, предупредив, что за любое покушение на их посланца поплатится жизнью пленник. На размышления было дано два дня.

Известие повергло несчастную семью в ужас, особенно когда посланец сообщил старику и Хулии, что за тулисанами охотится отряд гражданских гвардейцев. Ведь в случае стычки первой жертвой будет пленник – это знали все. Дедушка точно окаменел, бледная, трепещущая Хулия не в силах была вымолвить слово. Из оцепенения их вывела новая, еще более страшная весть. Посланец тулисанов сказал, что шайка вынуждена уйти в другие места и, если с выкупом будет задержка, кабесанга Талеса через два дня прикончат.

Старик и девушка, оба слабые, беспомощные, обезумели от горя. Танданг Село вставал с места, садился, спускался по лестнице, поднимался опять – он не знал, куда бежать, к кому обратиться. Хулия взывала к святым, считала и пересчитывала двести песо – всю наличность в доме, – но денег от этого не прибавлялось. Вдруг она начинала одеваться, собирала свои украшения и спрашивала дедушку: может, пойти ей к судье, к писарю, к лейтенанту гражданской гвардии? Старик на все отвечал «да», а если Хулия говорила «нет, не годится!», тоже

²⁵ Иисус, Мария, Иосиф! (*искаж. исп.*) – междометие, выражающее изумление.

²⁶ Вечный покой (от *лат.* Requiem aeternam) – начальные слова заупокойной молитвы; здесь: в качестве междометия.

²⁷ **Новена** у католиков – девятидневное моление по обету.

бормотал «нет». Наконец прибежали несколько родственниц и соседок, одна беднее другой, все женщины простодушные и болтливые. Самая смышленная из них была сестра Бали, страстная картежница, которая когда-то жила в Маниле послушницей в женской обители.

Хулия готова была продать все свои безделушки, кроме осыпанного бриллиантами и изумрудами ларца – подарка Басилио. У этого ларца была своя история. Его дала монахиня, дочь капитана Тьяго, одному прокаженному, и Басилио, который лечил несчастного, получил ларец в подарок. Хулия не могла его продать, не известив о том Басилио.

Гребенки, серьги и четки тут же купила самая богатая из соседок. Хулия выручила пятьдесят песо – не хватало еще двухсот пятидесяти. Ей советовали заложить ларец, но девушка отрицательно качала головой. Одна из женщин предложила продать дом; Танданг Село эту мысль одобрил – ему так хотелось вернуться в лес и снова рубить дрова, как прежде. Но сестра Бали заметила, что продавать дом в отсутствие хозяина нельзя.

– Как-то жена судьи продала мне вышитый передник за один песо, а судья потом сказал, что продажа недействительна, потому что не было его согласия. Ох-ох-хо! Забрал он у меня передник, а этот песо его жена до сих пор не вернула. Зато, когда она выигрывает в пангинги, я ей не плачу! Уже содрала с нее таким манером двенадцать куарто. Только из-за этого и сажусь играть. Терпеть не могу, когда мне не платят долги!

Одна из женщин хотела было спросить у сестры Бали, почему же в таком случае она сама не платит проигрышей в пикет, но хитрая картежница, почуяв опасность, поспешно перевела разговор на другое:

– Знаешь, Хулия, что можно сделать? Попросить двести пятьдесят песо займа под залог дома с обязательством уплатить, когда выиграете тяжбу.

Это был самый разумный совет, и женщины решили не мешкая приняться за дело. Сестра Бали предложила Хулии сопровождать ее. Вдвоем они обошли всех богачей Тиани, но никто не соглашался дать деньги на таких условиях: дело Талеса проиграно, а поддержать человека, враждующего с монахами, значит навлечь на себя их гнев. Наконец одна богомольная старуха сжалилась над девушкой и дала ей займы деньги с условием, что Хулия останется у нее в прислугах, пока не выплатит долг. Работа, правда, была нетрудная: шить, читать молитвы, сопровождать старуху в церковь, иногда поститься вместо нее. Девушка со слезами на глазах согласилась и взяла деньги, обещая на следующий же день – это было как раз в канун Рождества – явиться к своей новой хозяйке.

Старик, узнав об этом, разрыдался, как дитя. Подумать только, его внучка, которой он не разрешал выходить на солнце, чтобы не загорела кожа, его Хулия, с тоненькими пальчиками и розовыми пятками, станет прислужкой? Самая красивая девушка в деревне, а может, и во всей округе, Хулия, под чьими окнами юноши простаивали целые ночи, распевая песни, единственная отрада в старости, единственная внучка, которую он мечтал увидеть в платье со шлейфом, болтающей по-испански, обмахивающейся пестрым веером, как дочка богачей, будет выслушивать попреки и брань, портить свои нежные ручки, спать, где попало, и вставать, когда прикажут?

Дедушка был безутешен, грозил, что повесится, уморит себя голодом.

– Если ты уйдешь из дому, – говорил он, – я вернусь в лес, и ноги моей не будет в этой деревне.

Хулия утешала его, объясняла, что надо спасти отца, – тогда они выиграют дело и выкупят ее из рабства.

Это был печальный вечер. За ужином ни дед, ни внучка не могли есть. Потом старик заупрямился, не захотел ложиться и всю ночь просидел в углу, не вымолвив ни слова, не шелохнувшись. Хулия пыталась заснуть, но сон бежал от ее глаз. Немного успокоенная за участь отца, она думала о себе и горько плакала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не слышал дед. Завтра она станет служанкой. Как раз в этот день Басилио обычно приезжал из Манилы и привозил

ей подарки... Теперь уж им придется расстаться: Басилио скоро станет доктором, ему нельзя жениться на нищей... И воображение рисовало ей, как Басилио идет в храм с самой красивой и богатой девушкой их деревни, оба нарядные, счастливые, улыбающиеся, а она, Хулия, плетется за своей хозяйкой, неся молитвенник, буйо, плевательницу. Тут к ее горлу подкатывал ком, сердце сжималось, и она начинала молить Пресвятую Деву послать ей смерть.

– Но по крайней мере он будет знать, – шептала она, – что я согласилась пойти в рабство, лишь бы не продавать ларец, его подарок!

Эта мысль принесла некоторое облегчение, и Хулия размечталась. Как знать, а вдруг произойдет чудо! Вдруг она найдет двести пятьдесят песо под статуей Святой Девы – ей столько доводилось читать о подобных чудесах. Или солнце не взойдет и завтрашний день не наступит, пока дело не будет выиграно. А вдруг вернется отец, приедет Басилио или она найдет в саду кошелек с золотом; кошелек пришлют ей тулисаны, а вместе с тулисанами придет священник, отец Каморра, который всегда с ней шутит... Мысли путались все больше и больше; в конце концов, измученная усталостью и горем, девушка уснула. Ей приснилось, что она снова маленькая девочка и живет в густом лесу, купается вместе с братом и сестрой в ручье, там много-много разноцветных рыбок, которые сами плывут в руки, и она сердится: ей вовсе не интересно ловить таких глупых рыбешек; в воде она видела Басилио, но его лицо почему-то было похоже на лицо ее брата Тано. А с берега на них смотрела ее новая хозяйка.

V

Сочельник одного возницы

Басилио въезжал в Сан-Диего уже затемно, когда по улицам города шествовала праздничная процессия. В пути он задержался: его возницу, забывшего дома удостоверение, остановили гражданские гвардейцы и, ударив раз-другой прикладами, отвели ненадолго в часть.

Теперь двуколка снова остановилась, чтобы пропустить процессию; побитый возница, почтительно сняв шапку, шептал молитву перед первой статуей, которую несли на носилках, – видать, то был великий святой. Статуя изображала старца с длиннющей бородой; он сидел у могильной ямы под деревом, на котором красовались чучела разных птиц. Калан с горшком, ступка и каликут для растирания буйо составляли всю его утварь; скульптор словно хотел объяснить этим, что старец жил на краю могилы и там же варил себе пищу. Это был Мафусаил²⁸, как его представляют филиппинские мастера; его коллега и, возможно, современник, зовется в Европе Ноэль²⁹ – фигура более веселая и жизнерадостная.

«Во времена святых, – думал возница, – уж верно, не было гражданской гвардии и людей не избивали прикладами, потому и жили они долго».

За маститым старцем следовали три волхва³⁰ на резвых коньках, норовивших взвиться на дыбы; конь негра Мельхиора, казалось, вот-вот растопчет двух других коней.

«Нет, не было тогда гражданской гвардии, – окончательно решил возница, позавидовав тем, кто жил в столь блаженные времена. – Не то бы этого негра давно в тюрьму упекли. Ишь какие штучки проделывает над „испанцами“!» Под «испанцами» возница разумел Гаспара и Валтасара.

Заметив на голове негра такую же корону, как на королях-испанцах, возница, естественно, подумал о короле индейцев и вздохнул.

– Не знаете ли, сударь, – почтительно спросил он Басилио, – освободил он правую ногу или еще нет?

– Кто освободил ногу? – не понял Басилио.

– Король! – таинственным шепотом ответил извозчик.

– Какой король?

– Да наш король, индейский...

Басилио с улыбкой покачал головой.

Возница опять вздохнул. У филиппинских крестьян есть предание о том, что в давние времена король индейцев был закован в цепи и заточен в пещеру Сан-Матео. Но он жив и, придет время, вызовет всех крестьян. Каждые сто лет разрывает он одну цепь; обе руки и левая нога уже свободны, осталась закованной только правая нога. Стоит ему пошевелиться или напрячь мускулы, начинаются землетрясения, бури. А силища у него такая, что даже камень и тот рассыпается в прах от его прикосновения. Филиппинцы, бог весть почему, называют его «король Бернардо», возможно, смешивая с Бернардо дель Карпио³¹.

– Вот когда освободит он правую ногу, – пробормотал возница, подавляя вздох, – подарю я ему своих лошадок и стану ему служить, жизни за него не пожалею... Уж он-то избавит нас от «гражданских». – И возница меланхолически поглядел вслед трем волхвам.

²⁸ **Мафусаил** – по библейскому мифу, самый долговечный из людей.

²⁹ **Ноэль** – Дед Мороз во Франции.

³⁰ **Три волхва** – три царя-волхва, пришедшие, согласно евангельской легенде, в Вифлеем поклониться младенцу Христу. В отличие от Гаспара и Валтасара Мельхиор был чернокожим.

³¹ **Бернардо дель Карпио** – легендарный испанский герой, победитель французского рыцаря Роланда в битве в Ронсевальском ущелье (778).

За волхвами шли парами мальчики, насупленные, невеселые, словно их гнали насильно. Одни несли смоляные факелы, другие – свечи или бумажные фонарики на тростниковых прутьях; слова молитвы они не говорили, а выкрикивали с каким-то ожесточением. Дальше на скромных носилках несли святого Иосифа с покорным грустным лицом и посохом, увитым лилиями; по обе стороны носилок шагали два гражданских гвардейца, словно конвоиры при арестованном, – вот почему у святого такая унылая мина, догадался возница. Его самого оторопь взяла при виде гвардейцев, а может, святой, шествовавший в таком обществе, не возбуждал в нем должного почтения – как бы то ни было, он даже «*requiemeternam*» не сказал. За святым Иосифом шли со свечами девочки в платочках, завязанных под подбородком; они тоже читали молитвы, но, пожалуй, не так сердито, как мальчики. В середине процессии несколько мальчишек волокли больших кроликов из плотной бумаги с задорно торчавшими бумажными хвостиками. Внутри кроликов горели красные свечи. Дети приносили эти игрушки, чтобы повеселей отпраздновать Рождество Христово. Толстенкие, круглые, как шарик, зверьки то и дело подпрыгивали на радостях, теряли равновесие, опрокидывались и вспыхивали; малыш хозяин пытался потушить пожар, дул изо всех сил, ударами сбивал пламя и, видя, что от кролика остались одни обгоревшие клочья, заливался слезами. Возница с грустью подумал, что среди этих бумажных зверьков каждый год бывает такой мор, словно на них нападает чума, как на живую скотину. Вспомнилось ему, побитому Синонгу, как он, желая уберечь от заразы пару отличных лошадок, повел их, по совету священника, под благословение, заплатив десять песо, – лучшего средства против падежа не придумали ни священники, ни правительство. А лошадки все-таки сдохли. Но возница не очень горевал: после того как их покропили святой водой, почитали над ними по-латыни и проделали другие церемонии, они так заважничали, такие стали норовистые, что не давались и запрягаться, а он, как добрый христианин, не осмеливался их бить – ведь монах-терциарий³² объяснил, что лошадки стали «благословенные».

Замыкала процессию Пресвятая Дева, одетая Божественной Пастушкой, в широкополой пилигримской шляпе с пышными перьями, – в память о путешествии в Иерусалим. Для наглядности священник приказал сделать Пресвятой Деве чуть полней талию, засунув под юбку тряпье и вату, чтобы никто не мог усомниться в ее положении. Статуя была прелестная, но и ее лицо было печально, – таковы обычно статуи филиппинских резчиков, – а румянец на щеках, казалось, проступал от смущения, точно Дева стыдилась того, что сделал с нею преподобный отец. Перед носилками шли певчие, позади – музыканты и вездесущие гражданские гвардейцы. Сам священник не явился, как и следовало ожидать после такого святотатства. Он был в этом году сердит на своих прихожан: ему пришлось пустить в ход все свои дипломатические таланты и красноречие, чтобы уговорить их платить по тридцать песо за каждую рождественскую службу, вместо обычных двадцати.

– Набрался флибустьерского духу! – говорил он.

Как видно, мысли возницы были заняты процессией: пропустив ее, он погнался вперед и не заметил, что фонарь на двуколке погас. Басилио тоже не обратил на это внимания. Он разглядывал дома, освещенные внутри и снаружи бумажными фонариками всех форм и цветов, украшенные хвостатыми звездами, которые с тихим шелестом раскачивались на обручах, любовался рыбками, у которых в туловище горел огонек, а головы и хвосты шевелились; подвешенные к карнизам окон, эти рыбки придавали домам праздничный и уютный вид. Но Басилио заметил также, что год от году иллюминация становится все более скудной, звезды тускнеют, все меньше на них блесков и висюлек... На улицах почти не слышно музыки, веселый шум кухонной суеты доносится не из всех домов. Юноша объяснил это тем, что дела в стране

³² **Монах-терциарий** – Терциарии («третьи») – члены светской католической организации монашества в миру, основанной, по преданию, в 1221 г. св. Франциском Ассизским после создания мужского монашеского ордена и специальной женской францисканской организации.

уже давно идут из рук вон плохо, цены на сахар падают, последний урожай риса погиб, больше половины скота пало, а налоги почему-то все растут и растут, да еще гражданские гвардейцы своими придирками портят людям праздник.

Не успел Басилио об этом подумать, как раздался резкий окрик: «Стой!» Они проезжали мимо казармы, и один из гвардейцев углядел, что фонарь на двуколке не горит, – небрежность недопустимая! На бедного возницу градом посыпалась брань; в оправдание он забормотал что-то о процессии, слишком-де она растянулась. Так как за нарушение порядка его пригрозили арестовать да еще пропечатать об этом случае в газетах, миролюбивый, не любящий попадать в истории Басилио сошел с двуколки и отправился дальше пешком, таща чемодан.

Так встретил юношу Сан-Диего, его родной город, где у него не было ни единого родного человека...

Настоящим праздником повеяло на него только у дома капитана Басилио. С кухни доносились предсмертные вопли кур и цыплят под аккомпанемент дробного стука тяпок, которыми рубили на досках мясо, и шипящего на сковородах масла. Видно, пир там затеяли на славу, даже прохожих обдавало волнами дразнящих запахов жаркого и пирогов.

Заглянув в окно, Басилио увидел Синанг, все такую же коротышку, какой ее знали прежде наши читатели, только теперь она чуть округлилась – сказалось замужество. В глубине залы Басилио, к великому своему изумлению, разглядел – кого бы вы думали? – ювелира Симона в синих очках, непринужденно беседовавшего с хозяином дома, священником и альфересом³³ гражданской гвардии.

– Так договорились, сеньор Симон! – воскликнул капитан Басилио. – Мы поедем в Тиани посмотреть ваши безделушки.

– И я бы поехал, – подхватил альферес. – Мне нужна цепочка для часов, но я так занят... Может быть, капитан Басилио согласится взять на себя такое поручение...

Капитан Басилио с радостью согласился; он заискивал перед военным начальством, чтобы не тревожили его арендаторов и батраков, а потому не пожелал взять деньги, которые альферес пытался вынуть из кошелька.

– Нет, нет, это мой рождественский подарок!

– Что вы, капитан Басилио, я не позволю!

– Полноте, потом сочтемся! – любезно улыбаясь, возражал капитан Басилио.

Священнику оказались нужны серьги для знакомой дамы, он тоже поручил капитану купить их.

– Хорошо бы серьги с изумрудами. А сочтемся потом!

– Не беспокойтесь, преподобный отец, – отвечал добряк, который и с церковью хотел жить в мире.

Недоброжелательность священника могла сильно повредить ему в глазах властей, и это стоило бы ему вдвое дороже: он был вынужден делать подарки. Симон тем временем расхваливал свой товар.

«Какой странный человек! – подумал студент. – Повсюду у него дела... И если верить кое-кому; он скупает у некоторых особ за полцены те самые драгоценности, что продавал для подарков... В этой стране все обогащаются, кроме нас, филиппинцев!»

И он направился к своему дому, вернее, к дому капитана Тьяго, порученному присмотру старого слуги. Этому слуге пришлось однажды видеть, с каким хладнокровием делает Басилио хирургические операции, как будто кур режет; с той поры он проникся к студенту чрезвычайным уважением. Старик встретил Басилио целой кучей новостей: двое батраков арестованы, одного должны выслать; пало несколько буйволов.

– Э-э, старая история, – с досадой отмахивался Басилио. – Только и знаешь жаловаться!

³³ Альферес (исп.) – низший офицерский чин гражданской гвардии на Филиппинах.

Басилио по природе отнюдь не был строг, но так как ему частенько доставалось от капитана Тьяго, он, в свою очередь, не упускал случая приструнить тех, кто был ему подчинен. Старый слуга выложил еще одну новость:

– Умер наш арендатор, старик лесничий, а священник отказался хоронить его по дешевке, как бедняка. Говорит, у него хозяин богатый.

– А отчего он умер?

– От старости!

– Ишь что выдумал, умирать от старости! Добро бы еще от какой болезни!

Это странное замечание объяснялось там, что Басилио очень любил делать вскрытия.

– Стало быть, ничего веселого ты мне не расскажешь? А то от твоих историй у меня аппетит пропадает... Что слышно в Сагпанге?

Старик рассказал ему о похищении кабесанга Талеса. Басилио задумался и больше ни о чем не спрашивал. От этого известия аппетит у него пропал окончательно.

VI Басилио

Когда зазвонили колокола к полунощной и любители поспать, не намеренные жертвовать сном ради всяких празднеств и церемоний, с ворчаньем начали пробуждаться от шума и криков, Басилио украдкой вышел из дому. Сделав два-три круга по соседним улицам и убедившись, что никто за ним не наблюдает, он свернул на глухую тропинку и зашагал к старой наследственной роще семьи де Ибарра, купленной капитаном Тьяго, когда конфискованное поместье распродавали с молотка.

В этом году луна в сочельник была на ущербе, и за городом стояла непроглядная тьма. Колокольный звон умолк, в ночной тишине слышались только отдаленные звуки музыки, шелест листвы да мерный плеск воды в соседнем озере, – казалось, то дышала могучей грудью сама природа, объятая глубоким сном.

Взволнованный непривычной обстановкой, юноша шел, глядя себе под ноги, словно хотел что-то увидеть во мраке. Время от времени он поднимал голову и разглядывал звезды, мерцавшие между кронами деревьев, затем шел дальше, продираясь через кустарник и разрывая лианы, преграждавшие ему путь. Несколько раз он возвращался, плутая в зарослях, спотыкаясь о корни и упавшие стволы. Через полчаса он очутился у ручья, где на противоположном берегу вздымалась темная, расплывчатая громада холма, казавшегося во мраке настоящей горой.

По камням, которые чернели в тускло мерцавшей воде, Басилио перебрался через ручей, потом взошел на холм и приблизился к старой, полуразрушенной стене, окружавшей небольшую площадку. В центре площадки рос древний, таинственный балити – огромное дерево, мощные корни которого, причудливо переплетенные, поднимались над землей, как стволы.

Под деревом была груда камней, у нее Басилио остановился, снял шляпу и зашептал молитву. Здесь покоилась его мать, и всякий раз, приезжая в Сан-Диего, юноша прежде всего посещал эту одинокую, безвестную могилу. Завтра утром он хотел навестить семью кабесанга Талеса и потому решил воспользоваться ночью, чтобы исполнить сыновний долг.

Присев на камень, Басилио задумался. Прошлое представилось ему в виде длинной полосы, вначале розовой, затем темной, с пятнами крови, затем черной, совсем черной, а дальше уже сероватой, светлой, чем ближе к настоящему, тем все более светлой... Конец полосы был скрыт во мгле, сквозь которую брезжили лучи света, заря...

Тринадцать лет назад, день в день, почти час в час, умерла под этим деревом его мать, убитая страшным горем. Стояла чудесная ночь, ярко светила луна, во всем христианском мире был праздник. Басилио, раненный в ногу, прихрамывая, бежал за матерью, а она, обезумев от страданий, в ужасе убегала от сына, легкая, как тень. Здесь, на этом вот месте, оборвалась ее жизнь. Вдруг появился откуда-то незнакомый человек и велел Басилио сложить костер. Мальчик безотчетно повиновался, пошел за хворостом, а вернувшись, увидел другого незнакомца, который стоял над уже бездыханным телом первого. О, какая это была ночь! Какое страшное утро! Незнакомец помог ему сложить костер, они сожгли труп умершего, потом этот человек вырыл могилу для матери и, дав Басилио немного денег, приказал уйти. Басилио прежде никогда его не видал; это был человек высокого роста, с воспаленными глазами, бледными губами, тонким носом...

Оставшись круглым сиротой, без братьев и сестер, Басилио покинул город, где его бросало в дрожь от одного вида представителей власти. Он отправился в Манилу, надеясь поступить в услужение к какому-нибудь богачу и одновременно учиться, как делают многие. Путешествие его было настоящей одиссеей – ночи без сна, непрерывный страх, мучительный голод.

Он питался дикими плодами и забивался в самую чащу всякий раз, как замечал вдали мундир гражданской гвардии – причину всех его бедствий. Добравшись до Манилы, оборванный, больной, он стал ходить из дома в дом в поисках работы, он, деревенский мальчишка, ни слова не знавший по-испански и вдобавок хилый с виду. Унылый, голодный, отчаявшийся, обходился он улицей за улицей, привлекая внимание своими жалкими лохмотьями. Часто им овладевало искушение покончить раз навсегда с этими муками, броситься под копыта лошадей, которые мчали сверкающие лаком и серебром экипажи! Но вот однажды он увидел проезжавших в коляске капитана Тьяго и тетю Исабель, он знал их, они жили в Сан-Диего. Басилио так обрадовался, будто встретил родных. Мальчик побежал за коляской, но она скрылась из виду. Расспросив, где находится их дом, он явился туда как раз в тот день, когда Марию-Клару отвезли в монастырь, и застал капитана Тьяго в отчаянии. Басилио взяли слугой, разумеется, без жалованья, но зато разрешили ходить на занятия в Сан-Хуан-де-Летран³⁴.

Несколько месяцев спустя он поступил в эту коллегия на первый курс латинского отделения. Товарищи, глядя на его грязную, рваную одежду и стоптанные сандалии, обутое на босу ногу, потешались над ним, а профессор, щеголеватый доминиканец, ни разу не задал ему ни одного вопроса и, замечая его в классе, всегда хмурил брови. За все восемь месяцев первого года профессор только зачитывал в списке его фамилию, а Басилио отвечал «Adsum»³⁵ – этим и ограничивалось общение между учителем и учеником. С какой горечью уходил Басилио каждый раз после уроков! Он догадывался о причине такого обращения, глаза его наполнялись слезами, в душе вспыхивало негодование, но он молчал. А когда под Рождество капитан Тьяго взял его с собой в Сан-Диего, как безутешно рыдал он на могиле матери, поверяя ей свои тайные горести, унижения, обиды! Ведь он так старался, все уроки выучивал наизусть слово в слово, хотя мало что в них понимал. В конце концов он примирился со своим положением, убедившись, что из трехсот или четырехсот воспитанников его курса едва ли сорок удаивались чести быть спрошенными – те, кто привлек внимание профессора своей внешностью, какой-нибудь выходкой или пользовался его благосклонностью по иной причине. Остальные даже радовались, что их не спрашивают, – это избавляло от труда думать и вникать в заученное.

– В учебное заведение идут не затем, чтобы учиться и что-то узнавать, а чтобы получить диплом. Я вы зубрил весь учебник на память, чего еще от меня требовать? Год прошел, и слава богу, – рассуждали ученики.

На экзамене Басилио ответил на единственный заданный ему вопрос без запинки, без передышки, как заводной механизм, и экзаменаторы, расхохотавшись, поставили ему хороший балл. Девять его товарищей по экзамену – для быстроты их вызывали по десять человек сразу – оказались менее счастливыми и были обречены еще на один год отупляющей зубрежки.

Когда Басилио был на втором курсе, выкормленный им петух выиграл очень крупную ставку, и капитан Тьяго пожаловал студенту награды. Басилио немедленно истратил их на покупку башмаков и фетровой шляпы. Эти обновки, а также одежда с хозяйского плеча, которую Басилио приладил по своей фигуре, придали ему более приличный вид, но ничего не изменили в его положении. Среди такого множества студентов нелегко привлечь внимание, и если с первого года чем-нибудь не отличишься и не приобретешь расположения преподавателей, вряд ли тебе удастся выделиться из общей массы до конца студенческих лет. И все же Басилио продолжал ходить в коллегия – настойчивость была главной его чертой.

Перемена произошла лишь на третьем курсе. Профессором там был доминиканец очень веселого нрава, охотник пошутить и посмешишь учеников; себя он не слишком утруждал – урок вместо него почти всегда объясняли его любимчики, – но и от учеников много не требовал. Басилио в ту пору уже ходил в башмаках и в чистой, выутюженной сорочке. Профессор заметил

³⁴ Сан-Хуан-де-Летран – католическая коллегия на Филиппинах, основанная монахами-доминиканцами в начале XVII в.

³⁵ Я здесь (*лат.*).

мальчика, который едва улыбался остротам и в чьих больших грустных глазах как бы застыло недоумение; он счел Басилио дурачком и однажды решил потешить класс, спросив у него урок. Басилио ответил, не запнувшись ни на одной букве. Тогда профессор обозвал его попугаем и рассказал кстати историю, которая насмешила весь класс. Чтобы разжечь веселье и показать, что прозвище дано не зря, профессор задал еще несколько вопросов. Вот увидите, какая сейчас будет потеха, подмигивал он своим любимчикам.

Басилио, в то время уже неплохо владевший испанским, сумел ответить на вопросы, всем своим видом показывая, что не намерен давать повод для смеха. Это не понравилось, – как же, забава не состоялась, не удалось повеселиться. С тех пор почтенный монах и вовсе невзлюбил Басилио, не мог простить, что тот не дал выставить себя на посмешище, а главное, не оправдал данного ему прозвища! Но помилуйте, кто мог ожидать чего-либо путного от индейца с торчащими вихрами и голыми пятками, от индейца, которого еще недавно относили к разряду лазающих птиц? И если в других учебных заведениях, где искренне стремятся приохотить молодежь к наукам, индеец, обнаруживший способности, радуется учителей, то в коллегии, во главе которой стояли люди, в большинстве своем убежденные, что знания – это зло, по крайней мере для учащихся, случай с Басилио произвел плохое впечатление. До конца года мальчика уже не спрашивали. Стоило ли спрашивать, если над его ответами не посмеешься?

Басилио приуныл; на четвертый курс он перешел с сильным желанием уйти из коллегии. Какой смысл прилежно учиться, не спать по ночам? Не лучше ли, как другие, положиться на случай?

Один из двух преподавателей четвертого курса слыл большим ученым, одаренным поэтом и человеком весьма передовых взглядов. Однажды во время прогулки его питомцы затеяли спор с группой кадетов; завязалась потасовка, за ней последовал вызов на бой по всей форме. Преподаватель, видно, вспомнил дни своей молодости и провозгласил крестовый поход, пообещав поставить высокий балл всем, кто на следующей воскресной прогулке примет участие в сражении. Неделя прошла бурно: дубинки скрестились с саблями, состоялось несколько поединков, и в одном из них отличился Басилио.

Товарищи принесли его в коллегию на руках, как героя, и представили профессору; он был замечен, даже стал любимчиком. Отчасти по этой причине, отчасти благодаря своему усердию, в конце года он получил отличные отметки и положенную медаль. Тогда капитан Тьяго, проникшийся неприязнью к монахам с тех пор, как его дочь ушла в монастырь, в одну из добрых минут предложил Басилио перейти в муниципальный Атенео, самую лучшую коллегию в то время.

Перед Басилио открылся новый мир; он познакомился с системой обучения, о которой и не подозревал. Некоторый педантизм и другие мелкие недостатки не могли уменьшить его восхищения, он был бесконечно благодарен учителям, трудившимся не щадя сил. Часто на его глазах проступали слезы, когда он вспоминал о четырех годах, бесцельно потраченных в Сан-Хуан-де-Летран. Ценой неслыханных усилий он догнал товарищей, учившихся с самого начала по правильной системе, и мог с гордостью сказать, что за один год прошел пять курсов средней школы. Он успешно сдал экзамен на звание бакалавра, к великому удовольствию своих наставников, которые похвалялись им перед доминиканцами, присланными для наблюдения. Один из монахов, желая поубавить восторги, спросил экзаменуемого, где он начинал изучать латынь.

– В коллегии Сан-Хуан-де-Летран, ваше преподобие, – ответил Басилио.

– То-то с латынью у него обстоит недурно! – усмехаясь, заметил доминиканец.

По складу ума и склонностям юношу влекло к медицине. Капитан Тьяго предпочитал юриспруденцию – тогда в доме был бы даровой адвокат. Но на Филиппинах, чтобы иметь клиентов и выигрывать дела, недостаточно быть глубоким знатоком законов, для этого необходимы связи, влияние в известных кругах и незаурядная ловкость. В конце концов капитан

Тьяго все же уступил, вспомнив, что студенты-медики имеют дело с трупами; он давно разыскивал яд, чтобы смазывать стальные шпоры своих петухов, а самый смертоносный яд, как он слышал, – это кровь китайца, умершего от сифилиса.

Басилио учился на медицинском факультете еще с большим рвением, чем в Атенео; уже на третьем курсе он начал заниматься врачебной практикой, и весьма успешно; это сулило ему блестящее будущее, а пока давало возможность прилично, даже изящно, одеваться и делать кой-какие сбережения.

Последний курс подходил к концу; через два месяца Басилио станет врачом – тогда он вернется в свой родной город, женится на Хулиане, и оба будут счастливы. Он не сомневался, что выдержит экзамены на звание лиценциата³⁶, более того, надеялся сдать их блестяще и тем достойно завершить годы учения. Ему было поручено произнести благодарственную речь на торжественном акте вручения дипломов, и он уже видел себя в актовом зале, перед всем ученым синклитом и избранной манильской публикой. Да, все эти мудрецы, светила научного мира Манилы, одетые в яркие цветные тоги, эти дамы, явившиеся из любопытства и еще несколько лет назад глядевшие на него если не с презрением, то с равнодушием, все эти господа, чьи экипажи сталкивали когда-то его, мальчишку, в грязь, точно собаку, – все они будут внимательно слушать его, а он им скажет нечто необыкновенное, чего эти стены еще не слышали; он будет говорить не о себе, нет, он будет говорить о студентах, таких же бедняках, как он, которые придут на его место. И эта речь станет началом его служения обществу...

³⁶ Лиценциат – ученая степень, установленная в средневековых университетах Франции и Испании.

VII Симон

Вот о чем думал Басилио на могиле своей матери. Он уже собрался было вернуться в город, как вдруг между деревьями мелькнул огонек, послышался хруст веток, шорох листьев, шаги. Огонек тут же погас, но шум приближался, и вскоре Басилио увидел внутри ограды тень, которая двигалась прямо на него.

Басилио не был суеверен – он ведь уже четвертовал столько трупов и повидал столько умирающих, – однако старинные предания об этом зловещем месте, слышанные в детстве страшные сказки, ночной час, мрак, заунывный вой ветра подействовали на него: сердце его заколотилось, и ему стало жутко.

Тень замерла по другую сторону балити; юноша видел ее в просвете между двумя корнями, толстыми, как стволы. Это был высокий мужчина. Он вытащил из-под полы фонарь с мощной линзой и поставил его на землю; свет упал на сапоги со шпорами, но туловище и лицо остались скрыты темнотой. Пошарив в карманах, человек нагнулся, чтобы приладить к концу толстой палки железную лопату, и тут изумленный Басилио узнал пришельца: сомнений не было – в двух шагах от него с лопатой в руках стоял ювелир Симон.

Ювелир стал копать землю, свет фонаря упал на его лицо. Теперь он был без очков. Басилио вздрогнул. Это был тот самый незнакомец, который тринадцать лет назад выкопал здесь могилу для его матери; правда, человек этот постарел, поседел, у него были борода и усы, но взгляд был тот же, то же скорбное выражение лица, нахмуренный лоб, те же мускулистые руки, лишь немного исхудавшие, та же неукротимая энергия. Прошлое оживило: Басилио почудилось, что он снова ощущает дым костра, запах разрытой земли, голод, отчаяние. Он стоял будто громом пораженный. Стало быть, этот ювелир Симон, которого как только ни называли – и мулатом, и черномазым, и «Черным преосвященством», и индейцем, то английским, то португальским, то американским, – ювелир Симон, которого многие считали злым гением генерал-губернатора, был не кто иной, как таинственный незнакомец, появившийся на этом холме в ту роковую ночь и внезапно исчезнувший, что совпало по времени с гибелью наследника этих земель. Но тогда Басилио видел двух незнакомцев, один из них умер. Кто же из двоих был Ибарра?

Басилио и прежде не раз задавал себе этот вопрос, слушая разговоры о смерти Ибарры и догадываясь, с кем его тогда свела судьба.

У погибшего незнакомца были две раны, – скорее всего, от огнестрельного оружия, как определил Басилио, начав заниматься медициной. Возможно, эти раны беглец получил, когда плыл по озеру, спасаясь от преследователей. В таком случае погибший и был Ибарра, который пришел умирать на могилу своего предка. И то, что он в последние минуты попросил сжечь свой труп, легко объяснить его пребыванием в Европе, где кремация в обычае. Но кто же тогда второй незнакомец, оставшийся в живых, вот этот ювелир Симон? В ту ночь у него был такой жалкий вид, а теперь он богач, карманы его набиты золотом, он вхож к самому губернатору! Тут крылась тайна, и Басилио с присущим ему хладнокровием решил ее разгадать во что бы то ни стало.

А Симон все копал, но силы у него были уже не те, как заметил Басилио: он тяжело дышал и часто останавливался.

Боясь, что ювелир обнаружит его присутствие, Басилио решился и встал с камня, на котором сидел.

– Не могу ли я помочь вам, сударь? – самым естественным тоном спросил он, выходя из-за дерева.

Симон резко выпрямился и отпрыгнул назад, словно тигр, застигнутый врасплох, затем сунул руку в карман куртки и, бледный, нахмуренный, впери́л взор в студента.

– Тринадцать лет назад вы, сударь, оказали мне огромную услугу, – невозмутимо продолжал Басилио. – Здесь, на этом самом месте, вы предали земле тело моей матери, и я почти за счастье, если смогу отблагодарить вас.

Не сводя глаз с юноши, Симон вытащил из кармана револьвер. Что-то щелкнуло, – должно быть, он взвел курок.

– За кого вы меня принимаете? – сказал он, отступив на шаг.

– За человека, пред которым я благоговею, – с волнением отвечал Басилио, полагая, что, возможно, это его последние минуты. – За человека, которого все, кроме меня, считают погибшим и чьи несчастья всегда возбуждали во мне сострадание.

Торжественная пауза последовала за этими словами, пауза, показавшаяся Басилио вечностью. После долгого колебания Симон подошел к нему и, положив руку ему на плечо, проникновенно сказал:

– Басилио, вы знаете тайну, которая может меня погубить. А теперь вы попали на след тайны еще более важной, и я всецело в вашей власти, ибо ее разглашение может расстроить все мои замыслы. Ради собственной безопасности, ради дела, которому я посвятил жизнь, я должен скрепить вечной печатью ваши уста. Чего стоит жизнь одного человека в сравнении с великой целью, к которой я стремлюсь! Все мне благоприятствует: никому не известно, что я вернулся, я вооружен, вы безоружны... Вашу смерть отнесут на счет тулисанов или найдут какую-нибудь менее естественную причину... Однако я оставляю вам жизнь и уверен, что не пожалею об этом. Вы трудились, вы пробивали себе дорогу с завидным упорством... К тому же вам, как и мне, надо еще свести счеты с обществом: вашего маленького брата замучили, ваша несчастная мать помешалась от горя, а общество не покарало ни убийцу, ни палача. Мы оба принадлежим к числу алчущих справедливости, и нам надо не губить, а поддерживать друг друга.

Симон подавил вздох и, глядя вдаль, задумчиво продолжал:

– Да, я тот самый человек, который тринадцать лет назад пришел сюда раненый, истерзанный, чтобы отдать последний долг великой, благородной душе, проститься с другом, принявшим смерть за меня. Жертва деспотического строя, я должен был покинуть родину. Я странствовал по свету, дни и ночи трудился, чтобы осуществить свой замысел. И вот я вернулся в родные места, полный решимости разрушить этот строй, столкнуть его в пропасть, к которой он сам безрассудно стремится. Пусть же прольются потоки слез и крови! Строй этот навлек на себя проклятие, он обречен, и я хочу дожить до того дня, когда он разлетится вдребезги, исчезнет с лица земли!

И Симон протянул обе руки вниз, будто желая вдавить в землю осколки разбитого строя. Голос его зазвучал так зловеще, что Басилио содрогнулся.

– Пороки здешних правителей помогли мне стать необходимым для них человеком. Я приехал сюда и под видом коммерсанта исколесил всю страну. Золото открывало предо мной все двери, и повсюду я видел одно: алчность в самых гнусных обличьях – то скрывающаяся под маской лицемерия, то откровенно жестокая – питается соками мертвого организма моей родины, как стервятник – падалью. И тогда я сказал себе: почему бы во внутренностях этого трупа не мог образоваться яд, трупный яд, который погубит мерзкого стервятника? Труп раздирали на части, стервятник насыщался мертвой плотью, но не в моей власти было вдохнуть в нее жизнь, чтобы она восстала против своего мучителя, а разложение шло слишком медленно. Тогда я стал разжигать алчность, потворствовать ей, умножать несправедливости, злоупотребления; я поощрял преступления, насилие, чтобы народ свыкся с мыслью о смерти; я грозил ему новыми бедами, чтобы, ища спасения, он был готов на все; я опутал тенетами торговлю, расправлял честолюбие, чтобы казна таяла быстрее, чтобы нищий, изголодавшийся народ почерп-

нул отвагу в самом отчаянии. А когда оказалось, что всего этого мало, чтобы поднять народ на восстание, я нанес ему самый страшный удар, сделал так, что стервятник еще и надругался над трупом, благодаря которому существовал, – и тогда разложение ускорило... Из мертвечины, гнили, грязи, из всей этой мерзости стал образовываться смертоносный яд; распаленная алчность, обезумев, судорожно хватала все, что попадалось под руку, как застигнутая пожаром старуха. Я уже был у цели... И вот появляетесь вы с вашими лозунгами преданности Испании, с гимнами веры в правительство, в несбыточные идеалы; рождается пышущая жизнью юная плоть; чистая, здоровая, полнокровная, горящая энтузиазмом, – она растет, наливается соками, чтобы тоже в конце концов стать жертвой прожорливого стервятника... Уж эта мне молодежь! Неопытная, мечтательная, она, как всегда, гоняется за пестрыми мотыльками. Вы объединяетесь, чтобы общими усилиями связать вашу родину с Испанией гирляндами роз. На самом же деле вы куете для нее цепи тверже алмазных! Вы просите уравнивания в правах, испанизации своих обычаев и не понимаете, что то, чего вы просите, – это смерть, это гибель вашей национальной самобытности, уничтожение вашей родины, освящение тирании! Чем вы станете? Народом без национального характера, нацией без свободы; все у вас будет взятое взаймы, даже пороки. Вы просите испанизации и не краснеете от стыда, когда вам отказывают! Но если бы вы и получили ее – что это вам даст? Что вы приобретете? В лучшем случае, Филиппины станут страной военных переворотов и гражданских войн, республикой хищников и недовольных, вроде иных республик Южной Америки? Чего добьетесь вы, обучившись испанскому языку, что принесет эта ваша затея, которая была бы смешной, если бы не грозила вам гибелью! Хотите прибавить еще один язык к тем сорока, на которых говорят на островах? Но тогда вам будет еще трудней понимать друг друга!..

– Напротив, – возразил Базилио, – знание испанского языка не только сблизит нас с правительством, но также поможет сближению всех островов между собой.

– Какое заблуждение! – прервал его Симон. – Вас завораживают красивые слова, вы даже не пытаетесь вникнуть в суть дела, представить себе все его последствия. Испанский язык никогда не станет единым языком для всей нашей страны, народ никогда не будет говорить на нем, ибо для мыслей, возникающих в его мозгу, для чувств, волнующих его сердце, в этом языке нет оборотов: они у каждого народа особые, как и его восприятие мира. А чего достигнете вы, ничтожная кучка тех, кто будет говорить по-испански? Вы утратите свою самобытность, подчините ваше мышление чужому строю мыслей – не свободу вы получите, а станете подлинными рабами! Девять из десяти среди вас, кичащихся образованностью, – предатели своей родины. Научившись говорить по-испански, вы начинаете презирать свой родной язык, перестаете писать на нем, понимать его. А сколько встречал я филиппинцев, которые притворяются, будто и вовсе ни одного слова не знают из своего языка! Ваше счастье, что правители у вас неразумные. Россия, желая подчинить Польшу, навязывает ей русский язык, Германия запрещает французский в захваченных у Франции областях, – а ваше правительство лезет из кожи вон, чтобы сохранить филиппинцам их язык. Вы же, талантливый, умный народ, подчиненный дрянному правительству, жаждете избавиться от своей национальной самобытности. Вы забыли, что, пока народ сохраняет свой язык, он сохраняет залог свободы, подобно тому как человек, отстаивающий собственный образ мыслей, сохраняет свою независимость. Язык – это мысль народа. К счастью, тут вашей независимости ничто не грозит: ее оберегают страсти людские!

Симон умолк и провел рукой по лбу. Сквозь ветви балити лился слабый свет восходящей луны. Этот человек с седыми волосами и резкими чертами лица, освещенный снизу фонарем, походил сейчас на лесного духа, замышляющего недоброе. Базилио, опустив голову, молча внимал его суровым упрекам. Симон продолжал:

– Я видел, как зачиналось ваше движение, и ночи напролет терзался, ибо понимал, что среди вас есть светлые головы и горячие сердца, что они жертвуют собой ради дела, которое

полагают благим, но которое только принесет вред родному краю... Ах, сколько раз мне хотелось сбросить с себя маску, поговорить с вами, раскрыть вам глаза, но моя репутация такова, что слова мои были бы, пожалуй, истолкованы превратно и, кто знает, могли бы иметь противоположное действие... Сколько раз мне хотелось подойти к Макараигу, к Исагани! А порой я готов был убить их, уничтожить...

Симон сделал паузу.

– Сейчас я объясню, почему я оставляю вам жизнь, Басилио, хотя понимаю, что вы по неосторожности можете когда-нибудь меня выдать... Вы знаете, кто я, знаете, сколько я страдал, вы верите мне, вы не то, что чернь; для нее ювелир Симон – это делец, который подстрекает правителей к злоупотреблениям, чтобы притесняемые покупали драгоценности для взяток... Вы знаете, это не так! Я – судья, я хочу покарать целый строй, обратив против него его собственные пороки. Я хочу сразиться с ним его же оружием... И мне нужна ваша помощь, вы должны оказать влияние на молодежь, чтобы развеять ее безумные мечты об испанизации, ассимиляции, уравнивании в правах... Добившись всего этого, вы, в лучшем случае, станете скверной копией, а народ должен стремиться к более высокой цели! Не тшитесь изменить образ мыслей ваших правителей – это невозможно! У них свои планы, а на глазах у них повязка; вы не только тратите время зря, хуже того, вы морочите народ несбыточными надеждами и помогаете ему гнуть спину перед тираном. Нет, вы должны действовать иначе – должны, всякое упущение правительства обращать на пользу себе. Они не хотят вашей ассимиляции с испанским народом? Что ж, прекрасно! Вылепите свой собственный характер, заложите основы будущего филиппинского отечества... Они не оправдывают ваших надежд? И не надо! Не надейтесь на них, надейтесь на себя и трудитесь. Вам не разрешают иметь представителей в кортесах?³⁷ Тем лучше! Если бы вы и смогли послать туда своих депутатов, их голоса потонули бы в общем хоре и они бы своим присутствием лишь санкционировали будущие злоупотребления и ошибки. Чем меньше прав вам предоставляют, тем больше будет у вас прав сбросить ярмо и отплатить злом за зло. Раз они не хотят обучать вас их языку, пестуйте, распространяйте ваш язык, берегайте для народа его мысль. Пусть провинциальные устремления уступят место национальным, подражательный образ мыслей – независимому, чтобы для испанца все здесь было чужое: язык, обычаи, правовые отношения; чтобы он не чувствовал себя здесь как дома; чтобы народ не считал его своим, но всегда видел в нем захватчика, иноземца. Лишь тогда, рано или поздно, вы обретете свободу. Вот почему, Басилио, я хочу, чтобы вы были живы!

Басилио облегченно вздохнул, точно избавился от тяжелого бремени, и после минутной паузы ответил:

– Вы оказали мне великую честь, сударь, поверив свои планы, и я должен отплатить вам откровенностью, должен сказать, что вы требуете от меня непосильного. Я не занимаюсь политикой, петицию о преподавании испанского языка я подписал лишь потому, что считал это полезным для просвещения, не более. Мое призвание иное, я мечтаю лишь облегчать телесные недуги моих сограждан.

Ювелир усмехнулся.

– Что значат телесные недуги в сравнении с недугами нравственными? – спросил он. – Что значит смерть человека в сравнении со смертью общества? Возможно, когда-нибудь вы станете великим врачом – если вам позволят спокойно лечить больных, – но более велик будет тот, кто вдохнет силы в этот хиреющий народ! Вот вы, что вы делаете для страны, в которой родились, которой обязаны всем, что имеете и знаете? Разве вам не известно, что жизнь, не

³⁷ **Кортесы** – название парламента в Испании. В 1810 г., во время первой буржуазной революции в Испании (1808–1814) представители колоний, в том числе и Филиппин, получили право посылать своих делегатов в парламент. Однако в 1837 г., согласно новой испанской конституции, Филиппины были лишены права представительства в кортесах.

посвященная великой идее, бесплодна? Она – как затерявшийся в поле камень, не уложенный в стену здания.

– О нет, сударь, – скромно ответил Басилио, – я не сижу сложа руки, я тружусь наравне со всеми, чтобы из обломков прошлого поднять к жизни народ, в котором все будут заодно и каждый будет ощущать в себе сознание и бытие целого. Мое поколение полно энтузиазма, но мы понимаем, что на великой социальной фабрике необходимо разделение труда; вот я и решил посвятить себя науке.

– Наука не может быть высшей целью человека, – заметил Симон.

– Самые культурные нации стремятся к знаниям.

– Верно, но и для них наука – лишь средство достичь благоденствия.

– Наука – самое вечное, самое гуманное, самое всеобщее! – с жаром воскликнул юноша. – Пройдут века, человечество станет просвещенным, исчезнут преграды между расами, все народы будут свободны, не будет тиранов и рабов, колоний и метрополий, повсюду воцарится справедливость, человек станет гражданином мира – и вот тогда сохранится лишь культ науки, а слово «патриотизм» будет равнозначно «фанатизму», и человека, которому вздумается восхвалять патриотические добродетели, наверное, изолируют, как заразного больного, как возмутителя социальной гармонии.

– Так-то оно так, – грустно усмехнулся Симон, покачивая головой. – Однако гармония не наступит, пока существуют народы-тираны и народы-рабы, пока человек не будет волен в каждом своем шаге, пока он не научится уважать в правах другого свои собственные права. А для этого придется пролить немало крови, ибо борьба неизбежна. Вспомните, сколько людей погибло на кострах в прошлые времена, чтобы одержать победу над фанатизмом, угнетавшим умы! Сколько было принесено жертв, пока совесть общества не пробудилась и не провозгласила свободу совести для каждого человека. Кроме того, наш долг – откликнуться на мольбу родины, простирающей к нам руки в оковах! Патриотизм – преступление лишь для народа-угнетателя, ибо тогда он не что иное, как грабеж, прикрытый красивыми словами. А для народов угнетенных, какого бы прогресса ни достигло человечество, патриотизм – всегда добродетель, ибо во все времена он будет означать стремление к справедливости, к свободе, к достойной жизни. Так отбросьте же пустые мечты, откажитесь от иллюзий! Не в том величие человека, чтобы опередить свой век, – да это и невозможно, – а в том, чтобы угадать его чаяния, понять его нужды и повести его вперед. Гении никогда не отрывались от своего века, а если черни порой так кажется, то лишь потому, что она смотрит на них издали или же включает в понятие «век» тех, кто плетется в хвосте.

Симон умолк. Он почувствовал, что его слова не находят отклика в душе Басилио, и повел атаку с другой стороны.

– А что вы делаете ради памяти вашей матери и вашего брата? – спросил он, резко меняя тон. – Приходите сюда раз в год и, как женщина, плачете на могиле? И это все?

Он презрительно засмеялся.

Удар попал в цель, Басилио переменился в лице и шагнул вперед.

– А что, по-вашему, я должен делать? – гневно спросил он. – Я, человек без средств, без положения, должен добиваться кары для палачей? Что ж, будет еще одна жертва? С таким же успехом можно пробивать каменную стену куском стекла. О, напоминая мне об этом, вы поступаете жестоко, вы бередите старую рану.

– А если я предложу вам свою помощь?

Басилио на миг задумался, затем отрицательно качнул головой.

– Нет, никакое правосудие, никакая месть не оживит и волоса на голове моей матери, не вызовет улыбку на устах моего брата! Да починут они с миром... Пусть я отомщу, чего я этим достигну?

– Того, чтобы другим не пришлось испытать ваших страданий, чтобы впредь не убивали сыновей и не доводили матерей до безумия. Далеко не всегда смирение – добродетель; когда оно – пусть косвенно – поддерживает тиранию, оно – преступление; где нет рабов, там нет и деспотов. О, человек по природе вовсе не добр; если ему потворствуют, он всегда пользуется этим во зло. Прежде и я рассуждал, как вы, а моя участь вам известна. Виновники ваших бед следят за вами днем и ночью; им кажется, что вы лишь выжидаете удобного случая; вашу страсть к знаниям, усердие в науках, даже миролюбие ваше они толкуют как неуклонное стремление к мести... И в тот день, когда они смогут разделаться с вами, они разделаются, как когда-то со мной; они не дадут вам пойти далеко, потому что боятся вас и ненавидят!

– Ненавидят меня? Ненавидят, после того как причинили мне столько зла? – удивленно воскликнул юноша.

Симон расхохотался.

– Человеку свойственно ненавидеть тех, кого он обидел, говорил Тацит, подтверждая слова Сенеки³⁸ «quos laeserunt et oderunt»³⁹. Если вы хотите узнать, что принес один народ другому – добро или зло, посмотрите, любят его или ненавидят. Потому-то иные испанцы, которые обогатились здесь на высоких постах, стоит им возвратиться в Испанию, осыпают оскорблениями и бранью тех, кто стал их жертвой. «Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris»⁴⁰.

– Но ведь земля так велика! Пусть себе мирно властвуют... Я хочу только трудиться, хочу, чтобы мне не мешали жить...

– И воспитывать в смирении детей, которые тоже согнут шею под игом, – подхватил Симон, безжалостно передразнивая Базилио. – Отличное будущее вы им готовите, они, конечно, поблагодарят вас за жизнь, полную унижений и страданий! Желаю успеха, мой юный друг! Да, гальванизировать безжизненное тело – напрасный труд! Двадцать лет непрерывного рабства, систематического унижения, беспробудной спячки – от всего этого вырастает такой горб в душе, что в один день его не выпрямишь. И хорошие и дурные качества передаются по наследству, от родителей к детям. Что ж, да здравствуют идиллические мечты, грезы раба, который просит лишь клочка пакли обернуть цепь, чтобы не так брэнчала и не въедалась в тело. Вы мечтаете о семейном очаге, о скромном уюте – жена и горстка риса, – вот идеальный филиппинец! Гм, если вы это получите, считайте себя счастливецом.

Базилио привык покорно сносить капризы и дурное настроение капитана Тяго, теперь он чувствовал себя во власти Симона, этого страшного, рокового человека, путь которого, чудилось ему, залит потоками слез и крови. Он попытался объяснить, что не чувствует себя способным к политике, что тут у него нет своего мнения, этим вопросом он не занимался, но, если потребуется, на него всегда могут рассчитывать, хотя в настоящее время он видит только одну задачу – просвещение народа и т. д. ... Симон жестом остановил его, уже близился рассвет.

– Я не напоминаю вам, Базилио, что вы должны хранить мою тайну, я знаю: умение молчать – одна из ваших добродетелей. Но если вы меня предадите, ювелиру Симону, которого ценят и власти, и духовные ордена, всегда поверят больше, чем студенту Базилио, которого подозревают во флибустьерских взглядах, – хотя бы потому, что вы, туземец, выделяетесь среди земляков и избрали путь, где вам не миновать столкновений с могущественными соперниками. Да, вы не оправдали моих надежд, но, кто знает, взгляды ваши могут перемениться – тогда приходите в мой дом на Эскольте⁴¹, я к вашим услугам.

Базилио коротко поблагодарил и удалился.

³⁸ **Тацит Публий Корнелий** (ок. 55–ок. 120 г.) – крупнейший древнеримский историк, оратор и политический деятель; **Сенека Луций Анней** (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) – римский философ, писатель, политический деятель.

³⁹ Которых оскорбят и возненавидят (*лат.*).

⁴⁰ Человеку свойственно ненавидеть тех, кого он оскорбил (*лат.*).

⁴¹ **Эскольта** – одна из центральных улиц в испанских кварталах Манилы.

– Неужели я не сумел подобрать ключ? – прошептал Симон, оставшись один. – Сомневается ли он во мне или вынашивает план мести в столь глубокой тайне, что не доверяет даже ночному безмолвию? Или же годы рабства подавили в его душе все человеческое, и у него остались только животные инстинкты самосохранения и продолжения рода? Если так, форма непригодна, придется ее разбить и перелить наново. Тогда не обойтись без гекатомб. Пусть же погибнут неспособные и выживут сильные!

И, словно обращаясь к кому-то, прибавил:

– Потерпите еще немного, вы, завещавшие мне имя и очаг, потерпите! Я все утратил – родину, будущее, счастье, даже могилы ваши... но потерпите! И ты, возвышенный ум, благородная душа, преданное сердце, ты, что жил ради одной великой идеи и отдал жизнь, не ожидая ни благодарности, ни признания, потерпи и ты! Возможно, ты не одобрил бы мой путь, но зато он короче... Близится день, и когда забрезжит заря, я сам приду сюда известить вас. Потерпите!

VIII

Счастливого рождества

Хулия открыла распухшие от слез глаза и увидела, что в доме еще темно. Пели петухи. Первая ее мысль была: а вдруг Пресвятая Дева сотворила чудо и солнце не взойдет, даром что петухи его призывают.

Она встала, перекрестилась, с жаром прочитала утренние молитвы и, стараясь не шуметь, вышла на баталан.

Нет, чудо не свершилось! Солнце собиралось взойти, утро обещало быть великолепным, дул приятный прохладный ветерок, звезды на востоке бледнели, и петухи распевали во все горло.

Видно, слишком многого она захотела, – Пресвятой Деве, пожалуй, куда проще послать ей двести пятьдесят песо! Что стоит Матери Христовой сделать это для нее? Но под статуэткой Пресвятой Девы она нашла только записку отца с просьбой прислать пятьсот песо для выкупа... Ничего не поделаешь, надо идти. Дедушка лежал, не шевелясь, Хулия решила, что он спит, и приготовила ему завтрак. Странное дело, на душе у нее было спокойно, даже хотелось смеяться! И чего она так убивалась этой ночью! Жить она будет недалеко, сможет через день приходиться домой, дедушка будет часто ее видеть, а Басилио... он и раньше знал, что дела отца идут плохо, ведь он не раз говорил ей:

– Вот стану я врачом, мы поженимся, и твоему отцу уже не понадобится это поле.

– Какая я глупая, сколько ревела! – говорила себе Хулия, укладывая свой тампипи.

Под руки ей попался ларец, Хулия поднесла его к губам, поцеловала, но тут же обтерла губы, боясь заразы: этот ларчик, сверкавший бриллиантами и изумрудами, был подарком прокаженного! Если она заразится такой болезнью, ей не бывать женой Басилио.

Постепенно светало. Хулия увидела, что дедушка сидит в углу и следит за каждым ее движением. Она взяла свой тампипи с одеждой и, улыбаясь, подошла к старику поцеловать ему руку. Он молча благословил ее.

– Когда отец вернется, скажите ему, что я наконец-то попала в школу – ведь моя хозяйка говорит по-испански. Это самая дешевая школа, дешевле не найдешь! – вздумалось пошутить Хулии.

На глазах у старика блеснули слезы. Хулия поставила тампипи на голову и быстро сбегала по лестнице. Ее сандалии весело застучали по деревянным ступенькам.

Но когда она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на свой дом, где она рассталась с детскими мечтами и где к ней слетались первые девичьи грезы, когда она увидела, как печально и одиноко стоит он с полуприкрытыми окнами, пустыми и темными, как глаза покойника; когда до ее слуха донесся тихий шелест тростника, который раскачивался под дуновением свежего утреннего ветра, словно говоря: «Прощай!» – все ее оживление как рукой сняло, девушка остановилась, из глаз ее хлынули слезы, и, сев на лежавшее у дороги дерево, она горько зарыдала.

С тех пор как ушла Хулия, минуло несколько часов, солнце стояло уже высоко. Танданг Село смотрел в окно на разряженный народ, направлявшийся в город слушать торжественную мессу. Почти все вели за руку или несли детей, тоже одетых по-праздничному.

На Филиппинах Рождество, по мнению взрослых, – праздник для детей; но дети вряд ли так считают, праздник скорее внушает им страх. И в самом деле, их будят на заре, умывают, наряжают во все новое, самое дорогое, самое лучшее – атласные башмачки, огромные шляпы, шерстяные, шелковые или бархатные костюмчики и платья, на шею вешают четыре-пять крошечных ладанок с Евангелием от св. Иоанна и во всем этом снаряжении ведут на торжественную мессу, которая тянется целый час. В храме они томятся от жары и духоты среди разгоря-

ченных, потных людей; их то и дело заставляют читать молитвы или велят сидеть смиренно, а это уж совсем скучно, того и гляди уснешь. За каждое движение, за каждую шалость – щипок или выговор. Шутка ли, еще испачкаешь платье! Тут не до смеха, не до веселья, в широко раскрытых глазенках тоска по старенькой затрапезной рубашонке и протест против нарядной вышивки. Затем их тащат из дома в дом навестить и поздравить родственников; там они должны танцевать, петь, читать стихи, и никто не спросит, хочется ли им это делать, удобно ли им в новом платье, а только награждают щипками и выговорами за малейшую шалость. Родственники дарят детям монетки, а родители потом их отбирают. Единственное, что остается на память о праздниках, это синяки от щипков да расстройство желудка, не справляющегося с обильными порциями сладостей, которыми угощают нежные родственники. Но таков обычай, и филиппинские дети, вступая в жизнь, должны пройти через эти испытания, которые в конце концов оказываются далеко не самыми печальными и суровыми в их жизни...

Взрослые те хоть немного, а веселятся на этом празднике. Они навещают родителей, дядей, теток и, став на одно колено, поздравляют с Рождеством, принося в подарок сласти, фрукты, стакан воды или какой-нибудь другой пустячок.

Танданг Село смотрел, как проходят мимо все его друзья, и с горечью думал, что в этом году никому ничего не сможет подарить, даже внучке, – то-то она убежала, не поздравив его с праздником. Деликатность это или забывчивость.

Днем к Тандангу Село пришли родственники с детьми, и он хотел было поздравить их с праздником, но вдруг почувствовал, что не может сказать ни слова: пропал голос. Он хватался руками за горло, тряс головой – нет, ничего не получается! Старик попробовал рассмеяться: судорожно задергались губы, и глухое сипенье, как из кузнечного меха, вырвалось из его груди. Женщины растерянно переглянулись.

– Он немой, немой! – в страхе завопили они, и тут поднялся переполох.

IX Пилат⁴²

Весть о несчастье быстро разнеслась по селению: одни огорчались, другие пожимали плечами. Никто себя не винил, совесть у всех была спокойна.

Лейтенант гражданской гвардии и ухом не повел: ему было приказано изъять оружие, он только исполнил долг. Тулисанов он преследовал со всем усердием, а когда они похитили кабесанга Талеса, немедля устроил облаву и приволок в деревню заподозренных пять или шесть крестьян, связав их локоть к локтю; если же кабесанга Талеса не удалось обнаружить ни в карманах, ни под кожей у арестованных – вина не его.

Отец эконома развел руками. Он-то здесь при чем? Все это тулисаны, а он только делал то, что ему положено. Конечно, не пожалуйся он властям, оружие, возможно, не изъяли бы и тулисаны не захватили бы беднягу Талеса. Но ведь он, отец Клементе, должен был подумать о своей безопасности – у этого Талеса всегда был такой взгляд, будто он выбирал себе мишень на теле преподобного отца. Человеку свойственно оберегать свою жизнь. В том, что еще не перевелись тулисаны, он, отец эконома, никак не повинен; он не обязан гоняться за ними, на это есть гражданская гвардия. Не торчал бы кабесанг Талес день и ночь на поле, а сидел бы дома, так не угодил бы в лапы к разбойникам. Вот и покарало его небо за непослушание ордену.

Сестра Пенчанг, старая богомолка, к которой пошла служить Хулия, пробормотала, узнав о беде: «Сусмариосеп», – и перекрестилась.

– Господь часто наказывает нас за грехи наши или за грехи наших родственников, которых мы не наставили, как должно, в вере христианской.

Под «родственниками» святоша разумела Хулиану, считая ее великой грешницей.

– Вообразите только! Девушка на выданье, а еще и молиться не умеет! Какой срам! Когда негодница читает «Боже храни тебя, Мария», нет чтобы остановиться на «с тобой», а в «Богородице» сделать паузу на «грешниках», как положено всякой доброй христианке! Сусмариосеп! Не знает молитвы «Oremus gratiam»⁴³ и вместо «mentibus» читает – «mentobus». Послушать ее, так подумаешь, что она говорит «суман де ибус»⁴⁴.

И старуха, истово крестясь, благодарила Господа за то, что он предал отца в руки тулисанов, дабы дочь очистилась от скверны и познала добродетели, кои служат, как учат священники, украшением христианки. Потому-то сестра Пенчанг и держала Хулию при себе, не отпустила даже ненадолго домой присмотреть за дедушкой. Хулия должна была учить молитвы, читать книжонки, которые раздают монахи, и работать, работать, пока не выплатит двести пятьдесят песо.

Когда же прошел слух, что Басилио поехал в Манилу взять свои сбережения и намерен выкупить Хулию, почтенная богомолка решила, что девушка погибла навеки. Сам дьявол явится за ней в образе студента. Да, справедливое слово сказано в той книжечке – хоть и скучноватой, – что ей дал священник! Воистину юноши, уезжающие в Манилу учиться, губят и себя и других. Надеясь все же спасти Хулию, старуха заставляла ее читать и перечитывать «Танданг Басио Макунат»⁴⁵ и советовала почаще ходить к монастырскому священнику по примеру героини этого сочинения, превозносимой автором-монахом.

⁴² Понтий Пилат, римский правитель Палестины (ок. 26–36), известный своей жестокостью и произволом. По преданию, согласившись казнить Христа, заявил, что умывает руки в знак своей непричастности.

⁴³ Возблагодарим Господа (*лат.*) – начальные слова молитвы.

⁴⁴ Название местного лакомства (*тагал.*).

⁴⁵ «Танданг Басио Макунат» – «Старый лентяй Басио» (*тагал.*) – сочинение монахов-францисканцев, где под видом назидательности преподносились фривольные сцены, вследствие чего книжка была в конце концов запрещена самим орденом.

А монахи меж тем ликовали: они окончательно выиграли дело и, воспользовавшись отсутствием кабесанга Талеса, отдали его землю наглому и бессовестному прихлебателю отца эконома. Когда же прежний хозяин вернулся и услышал, что другой владеет его землей, той землей, из-за которой погибли его жена и дочь; когда он узнал, что у отца пропал голос от горя, а дочь пошла в служанки; когда увидел приказ суда, врученный ему деревенским старостой и предписывавший освободить дом в течение трех дней, он не сказал ни слова, сел рядом с отцом и так промолчал весь день.

X Роскошь и нищета

На следующее утро, к величайшему удивлению соседей, у дома кабесанга Талеса появился ювелир с двумя слугами, несшими сундучки в парусиновых чехлах, и попросил его приютить. Как ни тяжело было на душе у Талеса, он не забыл добрых филиппинских обычаев, только просил его извинить, что нечем попотчевать гостя. Но у Симона было с собой много провизии, ему лишь нужен был кров на день и ночь. Дом кабесанга был удобнее прочих, а главное, находился как раз на полпути между Сан-Диего и Тиани, откуда, как ожидал Симон, должно прийти много покупателей.

Ювелир осведомился о состоянии дорог и спросил у кабесанга Талеса, достаточно ли одного револьвера для защиты от тулисанов.

– У них дальнобойные ружья, – рассеянно ответил кабесанг Талес, видимо, думая о другом.

– Этот револьвер тоже бьет недурно, – возразил Симон и выстрелил в банговую пальму, росшую в двухстах шагах.

Упало несколько орехов, но кабесанг Талес ничего не сказал, мысли его были далеко.

Понемногу стали сходиться покупатели, привлеченные молвой о драгоценностях ювелира. Они обменивались приветствиями, поздравляли друг друга с праздником, толковали о мессах, о святых, жаловались на плохой урожай, – и, однако, были готовы расстаться со своими сбережениями ради европейских камешков и побрякушек. К тому же ювелир Симон был приятелем генерал-губернатора, и, на всякий случай, не мешало завязать с ним хорошие отношения.

Капитан Басилио явился с супругой, с дочерью Синанг и зятем, намереваясь истратить по меньшей мере три тысячи песо.

Сестра Пенчанг дала обет купить бриллиантовое кольцо в дар пресвятой деве де Антиполо⁴⁶. Хулию она оставила дома, чтобы та выучила на память книжечку, купленную у священника за два куарто, – сам архиепископ обещал индульгенцию на сорок дней каждому, кто ее прочтет или прослушает.

– Боже правый! – говорила богомольная старуха капитанше Тике. – Бедняжка росла здесь точно гриб-поганка! Я заставила ее прочесть книжку вслух раз пятьдесят, и она ничего не запомнила; не голова, а решето, которое полно, пока в воде. Да за это время все мои домашние, даже собаки и коты, лет на двадцать индульгенцию заработали!

Симон поставил на стол два сундучка, – один побольше, другой поменьше.

– Я думаю, томпаковые украшения и поддельные камни вас не интересуют. Вы, сударыня, – обратился он к Синанг, – наверно, желаете посмотреть бриллианты?

– Да, да, сударь, бриллианты, только старинные. Такие, знаете, старые-старые камни, – ответила она. – Платить будет папа, а он любит все старинное...

Синанг любила подшутить и над ученостью своего отца, и над невежеством своего мужа.

– У меня как раз есть весьма древние вещицы, – сказал Симон, снимая парусиновый чехол с меньшего сундучка.

Это был блестящий стальной ларец, отделанный бронзой, с надежными, замысловатыми запорами.

⁴⁶ Пресвятая дева Антипольская – местное изображение мадонны, считавшейся покровительницей моряков. По преданию, пресвятая дева явилась верующим на вершине хлебного дерева, называемого по-тагальски «антиполо», отсюда и ее прозвище – Антипольская.

– Сейчас я вам покажу подлинные ожерелья Клеопатры, найденные в пирамидах, а также перстни римских сенаторов и патрициев из раскопок Карфагена...

– Наверно, те самые, что были присланы Ганнибалом после битвы при Каннах! – воскликнул капитан Басилио, задрожав от восторга.

Хотя почтенный капитан много читал о древних, ему никогда еще не приходилось видеть античных вещей – на Филиппинах нет музеев.

– И еще я привез ценнейшие серьги римских матрон, найденные в Помпее на вилле Аппия Муция Папилина...

Капитан Басилио кивал головой с видом знатока; ему не терпелось взглянуть на драгоценные реликвии. Женщины говорили, что им тоже хотелось бы приобрести что-нибудь римское, например, четки, освященные папой, или мощи, которые освобождают от грехов, так что даже исповедоваться не надо.

Наконец сундучок был отперт, слой хлопковой ваты снят, взорам присутствующих открылось одно из отделений, – там грудой лежали кольца, ладанки, медальоны, крестики, шпильки... Сверкали искрами бриллианты и многоцветные камни, словно шевелясь среди цветов из золота нежнейших оттенков, с прожилками эмали, с причудливыми узорами и арабесками.

Симон приподнял перегородку, открылось другое отделение, где были такие дивные вещи, что семеро капризных девиц в канун семи балов в их честь и те остались бы довольны. Самые диковинные формы, самые прихотливые сочетания камней и жемчуга изображали насекомых с голубыми спинками и прозрачными крылышками; сапфиры, изумруды, рубины, бирюза, алмазы превращались в стрекоз, бабочек, ос, пчел, скарабеев, змеек, ящериц, рыбок, цветы, виноградные гроздья; были там и гребни в виде диадем, жемчужные и бриллиантовые кольца и ожерелья, столь прекрасные, что у девушек вырвался возглас восхищения, а Синанг прицелкнула языком и тут же получила щипок от своей мамы, которая испугалась, что ювелир запросит дороже за свой товар. Почтенная капитанша Тика, как и прежде, щипала свою дочь, хоть та уже была замужем.

– Вот старинные бриллианты, – провозгласил ювелир. – Этот перстень принадлежал принцессе де Ламбаль, а эти серьги – придворной даме Марии-Антуанетты⁴⁷.

Великолепные солитеры величиной с маисовое зерно мерцали голубоватым сиянием и в строгом своем изяществе, казалось, хранили трепет дней террора.

– Я хочу эти серьги, – сказала Синанг, глядя на отца и прикрывая ладонью свой локоть с той стороны, где стояла мать.

– Нет, лучше те, римские, те еще древней, – возразил, подмигнув, капитан Басилио.

Набожная сестра Пенчанг подумала, что, получив в подарок такой перстень, святая дева де Антиполо наверняка смилостивится и исполнит ее заветное желание: сотворит чудо, и имя сестры Пенчанг навеки станет славным здесь, на земле, а душа после смерти вознесется прямо на небо, как душа знаменитой капитанши Инес⁴⁸. Но, когда она спросила цену, оказалось, что Симон хочет за перстень три тысячи песо. Добрая старушка перекрестилась. Сусмариосен!

Симон открыл третье отделение.

В нем лежали часы, табакерки, спичечницы и ладанки, осыпанные бриллиантами и украшенные тончайшими узорами из эмали.

В четвертом хранились камни без оправы. Когда ювелир открыл его, все так и ахнули от восторга. Синанг опять прицелкнула языком, и опять мамаша ее ущипнула, тоже, впрочем, не удержавшись от восхищенного возгласа: «Иисусе, Мария!»

⁴⁷ **Мария-Антуанетта** – французская королева (1755–1793), казнена во время Великой французской буржуазной революции.

⁴⁸ **Капитанша Инес** – по распространенному на Филиппинах преданию, праведница, к которой на смертном одре якобы явилась святая дева де Антиполо.

Никто из них отродясь не видывал таких богатств. Этот сундучок, обитый внутри синим бархатом и разделенный перегородками, словно появился из «Тысячи и одной ночи». Крупные, с горошину, бриллианты переливались тысячами мерцающих искр, приковывая взгляд, – казалось, они сейчас растают или сгорят в радужном пламени; перуанские изумруды различных форм и граней, кроваво-алые индийские рубины, синие и белые цейлонские сапфиры, персидская бирюза, восточные жемчужины розовых, серебристых и свинцовых оттенков. Кто видел, как ночью в темно-синем небе взрывается большая ракета, рассыпаясь мириадами разноцветных огней, более ярких, чем вечные звезды, тот отчасти может себе представить, какое волшебное зрелище являли эти драгоценные камни.

А Симон, словно желая раззадорить покупателей, перебирал камни смуглыми, тонкими пальцами, наслаждался их нежным звоном и лучистыми переливами, напоминая игру радуги в капле воды. Завороженные сверканьем бесчисленных граней и мыслью о баснословных ценах, все, кто был здесь, не могли оторвать глаз от камней. Кабесанг Талес из любопытства тоже шагнул к столу, но сразу же зажмурился и отошел; он пытался отогнать от себя недобрые мысли. В его несчастье было невыносимо смотреть на такое богатство; этот ювелир явился сюда со своими сказочными сокровищами как раз накануне того дня, когда ему, Талесу, человеку без средств, без друзей, придется покинуть дом, который он построил собственными руками.

– Взгляните на эти два черных бриллианта, – сказал ювелир. – Они из самых крупных и почти не поддаются обработке, потому что на свете нет ничего тверже их... Этот розоватый камень – тоже бриллиант, как и вон тот зеленый, который нередко принимают за изумруд. Китаец Кироба предлагал мне за него шесть тысяч песо; хотел преподнести его одной весьма влиятельной даме... Но самые дорогие бриллианты не зеленые, а голубые.

И он отобрал три не очень крупных, но массивных и безупречно ограненных камня с голубоватым отливом.

– Хотя они мельче зеленого, – продолжал Симон, – но стоят вдвое дороже. Посмотрите на этот, самый маленький из трех – в нем не больше двух каратов, а он обошелся мне в двадцать тысяч песо, и меньше, чем за тридцать, я его не отдам. Чтобы достать его, я ездил чуть не на край света. А этот, из россыпей Голконды⁴⁹, весит три с половиной карата, и цена ему – свыше семидесяти тысяч. Позавчера я получил письмо от вице-короля Индии, он согласен заплатить за него двенадцать тысяч фунтов стерлингов.

Этот человек, владевший несметными сокровищами и говоривший о них так просто и непринужденно, внушал собравшимся невольное почтение. Синанг несколько раз щелкнула языком, но мать уже не щипала ее, – то ли сама была ошеломлена, то ли решила, что такой богач не запросит лишних пяти песо из-за неосторожного восклицания. Все не сводило глаз с камней, но никто не осмеливался их потрогать – изумление заглушило любопытство. Кабесанг Талес смотрел через окно на поля и думал, что, будь у него один бриллиант, пусть самый крохотный, он мог бы выкупить дочь, сохранить дом и, кто знает, даже приобрести другое поле... О боже, трудно поверить, что один из этих камешков стоит больше, чем кров для семьи, чем счастье девушки, чем спокойствие старца на склоне дней!

А Симон тем временем, будто угадывая его мысли, говорил столпившимся вокруг стола людям:

– Не правда ли, странно, что за один из этих голубых камешков, таких чистых, словно это осколки небесного свода, за один такой камешек, вовремя подаренный, некий человек добился изгнания своего врага, отца семейства, которого обвинили в подстрекательстве к бунту... А другой камешек, не крупней первого, но красный, как кровь сердца, как жажда мести, и свер-

⁴⁹ Голконда – древний город и крепость в штате Хайдерабат (Индия), знаменита обработкой алмазов.

кающийся, как слезы сирот, вернул изгнаннику свободу, вернул отца детям, мужа жене, и целая семья избегла горестной участи.

Он постучал пальцами по сундучку и на плохом тагальском языке прибавил:

– Здесь у меня, как в сумке лекаря, жизнь и смерть, яд и противоядие; этой горсткой камней я могу потопить в море слез всех обитателей Филиппин!

Ужас изобразился на лицах присутствующих, все понимали, что он говорит правду. Голос Симона звучал угрожающе, и чудилось, зловещие молнии вспыхивают за синими стеклами его очков.

Затем, как бы желая ослабить впечатление, произведенное его камнями на этих простодушных людей, Симон убрал еще одну перегородку и открыл нижнее отделение – «sancta sanctorum»⁵⁰ чудесного сундучка. Там, на сером бархате, лежали один подле другого разделенные слоями ваты замшевые футляры. Все затаили дыхание. Муж Синанг надеялся увидеть карбункулы, пыщущие огнем и светящиеся в темноте. Капитану Басилио казалось, что он у врат вечности: сейчас перед ним оживет столь любезное его сердцу прошлое.

– Вот ожерелье Клеопатры, – промолвил Симон, осторожно вынимая плоскую полукруглую коробочку, – ему нет цены, это редчайшая вещь, по средствам лишь богатому правительству.

Ожерелье состояло из золотых божков попеременно с зелеными и голубыми скарабеями, а подвеска из чудесной яшмы изображала голову ястреба с двумя крыльями – эмблема и любимое украшение египетских цариц.

Синанг сморщила нос и соорудила гримаску, полную ребячливого презрения, а капитан Басилио, при всей своей любви к древностям, не мог удержаться от разочарованного возгласа.

– Это великолепная вещь и отлично сохранилась, хотя ей почти две тысячи лет.

– Подумаешь! – хмыкнула Синанг, боясь, как бы отец все-таки не поддался соблазну.

– Глупышка! – сказал тот, оправившись от разочарования. – Ничего ты не понимаешь! Быть может, от этого ожерелья зависела судьба человечества, нынешний облик всего нашего общества? Не им ли пленила Клеопатра Цезаря, Марка Антония?.. Оно, быть может, слышало пылкие любовные признания двух величайших полководцев своего времени, слышало самую чистую и изящную латинскую речь, а ты, ты хотела бы нацепить его на себя!

– Я? Да я за него и трех песо не дам!

– Оно стоит все двадцать, дурочка! – тоном знатока сказала капитанша Тика. – Золото чистое, его можно переплавить на что угодно.

– А это, как полагают, перстень Суллы, – продолжал Симон.

Перстень был из массивного золота, с печаткой.

– Наверно, Сулла, когда был диктатором, скреплял им смертные приговоры, – побледнев от волнения, прошептал капитан Басилио.

Он взял перстень и попытался прочесть письма на печатке, но, сколько ни вертел его, ничего не мог разобрать, в палеографии он был не силен.

– Ну и пальцы были у Суллы! – вздохнул он наконец. – В этот перстень сразу два моих пальца влезают. Нет, видно, и впрямь человечество вырождается.

– Могу показать и другие древности...

– Если они вроде этих, благодарю покорно! – перебила ювелира Синанг. – Мне больше нравятся современные украшения.

Каждый облюбовал себе вещицу: кто перстень, кто часы, кто медальон. Капитанша Тика купила ладанку с осколком камня, на который оперся Спаситель, когда упал в третий раз, Синанг выбрала серьги, а капитан Басилио – цепочку для альфереса, серьги, заказанные свя-

⁵⁰ Святая святых (лат.).

щенником, и еще кое-что. Жители Тиани, чтобы не отстать от богачей из Сан-Диего, опустошили свои кошельки.

Симон не только продавал, он также скупал старые безделушки и занимался обменом. Поэтому предприимчивые мамы чего только не принесли на торг в дом кабесанга.

– А вы ничего не желаете продать? – спросил Симон кабесанга Талеса, заметив, как внимательно следит тот за сделками.

Талес ответил, что украшения его дочери проданы, а то, что осталось, и гроша не стоит.

– А ларец Марии-Клары? – спросила Синанг.

– Верно, верно! – воскликнул Талес, и глаза его заблестели.

– Этот ларец весь усыпан бриллиантами и изумрудами, – объяснила Синанг ювелиру. – Он когда-то принадлежал моей подруге, теперь она стала монахиней.

Симон ничего не ответил: он с тревогой наблюдал за кабесангом Талесом.

Тот порывлся в своих сундуках и нашел ларец.

Ювелир тщательно осмотрел вещь, несколько раз открыл и захлопнул крышку: да, это был тот самый ларец, который Мария-Клара взяла с собой на праздник святого Диего и в порыве сострадания подарила прокаженному.

– Форма недурна, – сказал Симон. – Сколько вы за него хотите?

Кабесанг Талес смущенно почесал затылок и взглянул на женщин.

– Этот ларец мне очень нравится, – продолжал Симон. – Даю сто песо... Ну ладно, пятьсот... А может, вы хотите обменять его на другой? Выбирайте сами!

Кабесанг Талес молчал и растерянно смотрел на ювелира, словно не веря своим ушам.

– Пятьсот песо? – пробормотал он наконец.

– Да, пятьсот, – с волнением подтвердил Симон.

Талес взял ларец, повертел: в висках у него стучало, руки тряслись, – что, если попросить больше? Этот ларец мог спасти их всех, такой удачный случай вряд ли повторится!

Женщины подмигивали ему – соглайся! Только сестра Пенчанг, которой не хотелось расставаться с Хулией, елейным голоском проговорила:

– На вашем месте я бы сохранила ларец как реликвию... Люди видали Марию-Клару в монастыре. Рассказывают, что она ужасно исхудала, ослабела, еле говорит. Верно, умрет как святая... Сам отец Сальви отзывается о ней с почтением, а он – ее духовник. Потому, думаю, Хулия и не захотела продавать ларец, а предпочла пойти в прислуги.

Слова эти произвели действие. Упоминание о дочери остановило кабесанга Талеса.

– Если позволите, – сказал он, – я схожу в город, посоветуюсь с дочкой, а к вечеру буду обратно.

На том договорились, и кабесанг Талес не медля отправился в путь.

Но только вышел он за околицу, как заметил вдаль, на тропинке к лесу, отца эконома и с ним еще одного человека, в котором узнал нынешнего владельца своего участка. Гнев и ревность вспыхнули в груди кабесанга Талеса, как если бы он увидел свою жену в спальне с другим. Эти люди шли на его поле, на поле, которое он возделал и надеялся завещать своим детям. Ему показалось, что эти двое смеются над ним, над его бессилием! Он вспомнил свои слова: «Я уступлю эту землю только тому, кто оросит ее своей кровью и схоронит в ней жену и дочь...»

Кабесанг остановился, провел рукой по лбу и закрыл глаза; когда он их открыл, то увидел, что новый хозяин его земли корчится от смеха, а монах даже за живот схватился, точно боясь лопнуть. Потом оба стали указывать в сторону его дома и еще пуще захохотали.

В ушах у Талеса зашумело, в висках будто застучали молотки, багровый туман поплыл перед глазами, он снова увидел трупы жены и дочери, а рядом – этого хохочущего негодя и монаха, хватающегося за живот.

Забыв обо всем на свете, он свернул на тропинку, ведущую на его поле, вслед за своими врагами.

Симон напрасно прождал до вечера, кабесанг Талес не возвратился.

На следующее утро ювелир, проснувшись, заметил, что его кобуру кто-то трогал. Он расстегнул ее и нашел внутри завернутый в бумагу золотой ларчик, осыпанный изумрудами и бриллиантами; на бумаге было несколько строк по-тагальски:

«Надеюсь, вы простите, сударь, что я взял вещь, принадлежащую вам, моему гостю. Я вынужден это сделать. Взамен оставляю приглянувшийся вам ларец. Мне необходимо оружие, я уйду в горы, к тулисанам.

Советую вам не продолжать путь, ибо, попав в наши руки, вы уже не будете моим гостем, и мы потребуем от вас большого выкупа.

Телесфоро Хуан де Диос».

– Наконец-то я нашел нужного мне человека! – прошептал Симон. – Пожалуй, слишком совестлив, но... это даже лучше. На него можно будет положиться!

И ювелир велел слуге плыть по озеру в Лос-Баньос с большим сундуком и ждать его там, сказав, что сам он поедет дальше по суше с меньшим сундучком, где хранились его баснословные драгоценности.

Прибытие четырех гражданских гвардейцев привело его в наилучшее настроение. Они явились за кабесангом Талесом и, не найдя хозяина, забрали старика Село.

В ту ночь было совершено три убийства. Отца эконома и нового арендатора, присвоившего поля Талеса, нашли мертвыми на меже поля кабесанга с простреленными головами и набитыми землей ртами; а в самом поселке оказалась зарезанной жена арендатора; и у нее рот был набит землей. Рядом с ее трупом валялся клочок бумаги, на котором было выведено кровью: «Талес».

Успокойтесь, мирные жители Каламбы! Никого из вас не зовут Талес, никто из вас не совершил этих преступлений! Ваши имена – Луис Абанья, Матиас Белармино, Никасио Эйгасани, Кайетано де Хесус, Матео Элахорде, Леандро Лопес, Антонио Лопес, Сильвестре Убальдо, Мануэль Идальго, Пасиано Меркадо, ваше имя – вся Каламба!.. Вы расчистили себе поля под посевы, вы всю жизнь трудились, не спали ночи, терпели нужду, – вы отдали земле все, что имели, и у вас ее отняли, вас выгнали из дому и запретили другим давать вам приют! Ваши гонители не только нарушили справедливость, они попрали священные обычаи вашей страны... Вы служили Испании, ее королю, но, когда их именем вы потребовали правосудия, вас сослали без суда, разлучили с женами, отняли вас у детей... Любой из вас выстрадал больше, чем кабесанг Талес, но ни один, ни один не решился сам свершить правосудие... С вами поступили жестоко, бесчеловечно, вас преследовали даже за гробом, как Мариано Эрбосу... Так плачьте же или смейтесь на пустынных островах, где вы бродите, опустив руки, с тревогой глядя в будущее! Испания, великодушная Испания печется о вас, и рано или поздно справедливость восторжествует!

XI Лос-Баньос

Его превосходительство генерал-губернатор Филиппинских островов изволил охотиться в Бособосо. Но так как ему полагалось ездить в сопровождении оркестра – столь высокая персона достойна, разумеется, не меньшего почета, чем деревянные статуи, которые носят в процессиях, – а олени и вепри Бособосо еще не прониклись влечением к божественному искусству святой Цецилии⁵¹, то губернатору с его оркестром и свитой монахов, военных и чиновников не удалось подстрелить даже крысы или птички.

Высшие чиновники провинции предсказывали неминуемые увольнения и перемещения, несчастные префекты⁵² и старосты барангаев переполошились и потеряли сон: как бы богоподобному охотнику не вздумалось отыгаться за строптивость лесных четвероногих на их особах, – по примеру некоего алькальда⁵³, который за несколько лет перед тем, не найдя достаточно смиренных лошадей, чтобы доверить им свою жизнь, путешествовал по провинции на плечах носильщиков. Пронесся злопыхательский слухок, будто его превосходительство решил принять меры, ибо усматривает в своей неудаче первые признаки бунта, который необходимо пресечь в зародыше, посягательство на авторитет испанских властей, – и кое-кто уже поглядывал на одного нищего, прикидывая, не нарядить ли его дичью. Однако его превосходительство в порыве великодушия, которое тут же принялся захлеб восхвалять Бен-Саиб, рассеял все страхи, заявив, что ему просто жаль губить лесных тварей ради забавы.

Сказать правду, *inter se*⁵⁴ губернатор был очень доволен. Ну как бы это выглядело, если бы он промазал по кабану или оленю, не разбирающемуся в тонкостях политики? Что случилось бы с его высоким авторитетом? Только подумать: генерал-губернатор Филиппин промахнулся на охоте, как новичок! Что сказали бы индейцы, среди которых встречаются отличные охотники? Могла бы возникнуть угроза для неделимости отечества...

С натянутой улыбочкой и притворным недовольством его превосходительство отдал приказ о немедленном возвращении в Лос-Баньос. В пути он с небрежным видом не преминул рассказать о своих охотничьих подвигах в рощах и лесах Испании и в несколько презрительном тоне, вполне в этом случае уместном, отозвался об охоте на Филиппинах. Разумеется, купальни в Дампалит, горячие источники на берегу озера и партия в ломбер во дворце, а время от времени прогулки на соседний водопад или к озеру, где в изобилии водятся кайманы, – все это куда более заманчиво и менее опасно для неделимости отечества.

Итак, в конце декабря его превосходительство в ожидании завтрака играл у себя во дворце в ломбер. Он только что принял ванну, выпил неизменный стакан воды с мякотью кокосового ореха и был в отличнейшем настроении, сулившем всякие милости и пожалования. Благодушию генерала немало способствовали частые выигрыши – его партнеры, отец Ирене и отец Сибила, хитрили изо всех сил, стараясь незаметно проигрывать, к великой досаде отца Каморры, который приехал только утром и еще не разобрался в здешних интригах. Монах-артиллерист играл на совесть, и всякий раз, как отец Сибила делал промах, отец Каморра багровел, со злостью кусал губы, но замечание сделать не решался – к доминиканцу он питал почтение. Зато этот грубиян вымещал досаду на отца Ирене, которого презирал, считая низким льстецом. Отец Сибила не обращал внимания на его гневное сопенье, даже не смотрел в

⁵¹ **Цецилия** – святая католической церкви, считается покровительницей музыки.

⁵² Префект в испанских Филиппинах – муниципальный чиновник из местных жителей.

⁵³ **Алькальд** (или более точно старший алькальд) – испанский чиновник, стоявший во главе провинции на Филиппинах.

⁵⁴ В душе (*лат.*).

его сторону, а более смиренный отец Ирене оправдывался, потирая кончик своего длинного носа. Его превосходительство, чье искусство в игре вкрадчиво восхвалял каноник, забавлялся ошибками партнеров и умело обращал их себе на пользу. Отцу Каморре было невдомек, что за ломберным столиком решался вопрос о духовном развитии филиппинцев, о преподавании испанского языка; знай он об этом, он, вероятно, с удовольствием принял бы участие в «игре».

Через открытую настежь балконную дверь дул свежий, бодрящий ветерок и виднелось озеро, волны которого с тихим ропотом подкатывались к самым стенам дворца, словно припадая к его стопам. Справа вдали нежно голубел остров Талим; посреди озера, почти напротив дворца, простирался в виде полумесяца зеленый, пустынный островок Каламба; слева берег, красиво окаймленный тростниковыми зарослями, переходил в небольшой холм, за которым лежали обширные поля; дальше, в темной зелени деревьев, проглядывали красные крыши селения Каламба; противоположный берег терялся в туманной дали, и небо на горизонте сходилось с водой, отчего озеро походило на море, – недаром туземцы называют его «Несолёным морем».

В углу залы, за столиком с бумагами, сидел секретарь. Его превосходительство был человек деятельный и не любил зря терять время: когда сдавали карты или ему выпадало быть вне игры, он принимался обсуждать дела с секретарем. В промежутках, занятых игрой, бедняга секретарь отчаянно зевал от скуки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.